Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/egomoiabiografii00kame

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ.

ЕГО-МОЯ

БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО ФУТУРИСТА.

7 ДНЕЙ ПРЕДИСЛОВИЙ.

3 ПОРТРЕТА.

Книгоизд-во КИТОВРАС.
Москва—1918.

КНИГА

ИСКУССТВА
ВОЛЬНОТВОРЧЕСКОЙ
МОЛОДОСТИ

Василий
Каменский.

ЕГО-
МОЯ

БИОГРАФИЯ ВЕЛИКОГО ФУТУРИСТА.

Москва—1918.
ТИПОГРАФІЯ Т. Ф. ДОРТМАНЪ.
Газетный пер., д. 6. Тел. 1-06-45.

ЭТУ КНИГУ СВОЮ
ВО ИМЯ ЧУДА
ПОСВЯЩАЮ
П. Е. ФИЛИППОВОЙ

— Автор.

ОКЕАНСКИМ КРЫЛОМ
ВЗМАХНЕМ ПО ЗЕМЛЕ
И ПОЛЕТИМ
НА ВЕЛИКИЙ ПРОЛОМ.

(Из кн. Девушки
босиком).

Я — ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ.

(ПОНЕДЕЛЬНИК)

Эй друзья писатели— гениальные головы— запомните:

1) К чорту выдуманную ерунду романов и всяческих повестей—гнусное вранье надоело—оставим это сморщенным от рожденья протоколистам.

2) Любая биография незаметного архивариуса—пускай коряво написанная—в мильон раз интереснее сочиненной похабщины на романической подкладке.

3) Необходимо Друзья временно объявить биографии живых гениев — единственными культурными книгами искусства—после Поэзии.

4) Поэтому: пишите, издавайте немедленно Ваши биографии—чья творческая жизнь полна откровений, взрывов, размаха, огня, сокрушений, молитв и проклятий.

5) Или пишите биографии Ваших Друзей или кого угодно, но только живых с полными именами, свидетелей вокруг и гордой правды.

6) Связывайте Вашу биографию с Вашим искусством—это и будет идеальная критика: кто лучше Вас развернет сущность Вашего Духа, иллюстрированную образцами Творчества.

7) Проклятие критикам, выискивающим у писателей в книгах прыщи, бородавки, случайные мелочи, пыль недостатков.

8) Отныне писатели сами должны писать о своем творчестве—иначе сгинет книга.

9) Перестаньте фантазировать что Вас читают и Вы — нужны (если уедете в Австралию сегодня—завтра никто невспомнит о Вас).

10) Книга переживает трагический кризис—книга ненужна—книга пережила себя—ее некому стало читать — революционная жизнь опередила купечески—жирные романы.

11) На арене человечества утверждается Личность,—в искусстве—книга биография гения.

12) Временно надо спасти книгу своими биографиями, нужно всем напряженьем своего мастерства заставить читателя—занятаго всегда чем угодно—только не книгой — полюбить трепетно книгу, как живое истинное близкое чудо.

13) А после—книгу в искусстве (мертвая форма словопредставленья посредством бумаги и шрифта)—совершенно уничтожить, а перейти непосредственно к искусству жизни, помещая стихи и мысли на заборах, стенах, домах, фабриках, крышах, на крыльях аэропланов, на бортах кораблей, на парусах, на небе электрическим свеченьем, на платьях.

14) Солнцевеющая мудрость да пронзит Ваши сердца во славу футуризма.

(ВТОРНИК)

Девушки и Юноши хоровода Его лекций.

Во имя Ваше утровейное—чье шествие от Грядущаго—подобно торжеству Карнавала Революционной Победы — только во имя Вашей молодости, обвеянной радугами Истинного Творчества — летал Великий Поэт — Футурист Василий Каменский по долинам России, распевая Свои Лекции, открывая Ваши вольные души, наполняя Ваши сочные сердца Революцией Духа, опьяняя Вас Песнями Футуризма.

Девушки, Девушки.

Ведь это Вы создали Поэта настолько напевно-женственным, ритмически-гибким, энергично-современным, что он стал похож и на пролетающую Гітицу, и на священно египитский Лотос, и на поэмию стремительности водопада Иоземайт в Калифорний, и на Ай-Петри.

Девушки, Девушки.

Это Вы во всех городах—где Поэт распевал Свои Лекции — цветистыми лугами весны заливали Его аудитории, утренне приветствуя выступленье Поета обещаньями, цветами, апплодисментами.

Поэт рыцарски благодарит Вас.

Вольные Юноши.

От берегов солнцезарнаго Детства—до последней на земле минуты— это Вы — Юноши научили Его быть стройным, шумным, затейным, безпечным, взрывным, легким, небоглазым, размашным.

Юноши.

Поэт славит Вас — молодецкую стаю в облаках кричащих орлов —за дружеские звонкие встречи на всех Его перепутьях России, Поэт ждет от Вас единого взлета с ним на Великий Пролом.

Он огненно ждет.

(СРЕДА)

Видимые чудаки и невидимые читатели.

Я—оптимист до торжества Анархизма.

Я—сотворил шестую книгу—Его·Моя биография Великого Футуриста.

Гениальность этой книги—не только в ее сущности и неожиданности, а в том—что книгой—биографией я, хочу спасти временно Книгу, как официальную форму творческого сообщенья с Вами, хочу показать Живой Смысл напечатанного Слова, хочу убедить Вас по иному взглянуть на книгу и даже невзглянуть, а остро пронзиться счастливыми лучами восходящаго Чуда: Книга перестала быть мертвой, Книга встрепенулась, засветилась, зажглась, Книга поет, зовет, волнует, Книга шелестит крыльями своих страниц, образуя вихрь мыслей, слов, идей, возможностей.

Книга—Живая Истина с бьющимся сердцем.

Здесь—рубиновая кровь, глаза скорби и счастья, весь перелетный путь Дней и Ночей, расцвет Личности, живая сила жизни, здравствующие сегодня люди, борьба за Тело и Дух, слава, неудачи, смех, проклятия, легкомысленность, любовь, разбой.

Я знаю: Вы перестали читать книгу и уважать писателей пишущих дурацкие романы из какой то всегда плоско-галантерейной выдуманной лже-жизни, никому и ничему ненужной, чужой, бездарной, глупой.

Вы разлюбили сочиненную жизнь писателями в романах и повестях, потому что полюбили истинную, новую, свободную, революционную, стремительную Правду Жизни, созданную Великими Личностями—борцами за святое дело вольного Человечества.

Из любимых всегда и теперь Вами книг Искусства—были и остались только Поэты-рыцари—песнебойцы — создатели гениальных стихов — песен-поэмий—Пророки Эпохи Чистой Формы Слов—Поэты сверхчеловеческой отвлеченности Духа—Композиторы словотворческого ритма—крыловейные Предводители поющих птиц, хрустально звенящих душ—Авиаторы культурных аэропланов современности—Футуристы Искусственных Солнц, Открыватели нездешних Странствований—Возвестники Грядущаго.

И еще Вы любили всегда и теперь книги—биографии.

Я знаю: в прочитанных книгах-биографиях Вы чуяли эту Живую Истину с бьющимся сердцем, потому что верили, огненно верили в каждое движенье жизни Личности и его окружающих друзей и врагов, названных верными именами.

Вы так увлекались биографиями, что часто забывали, что перед Вами только—книга, и между слов и строк Вы ясно видели, чувствовали, воспринимали Живую Душу Книги—чья судьба уносила Вас скитаться, переживать, возмущаться, страдать, искать, торжествовать, любить, преображаться в цепь воплощений Времени.

А самое главное—Вы всегда и теперь находили много общого, единого в биографии Гения—с своей

Личностью и это святое совпаденье Вас утешало, гордо радовало, толкая сердце к бодрости до конца.

Книга—биография—Жизнь Гения—Его творчество—пусть да раскинется Северным Сияньем над Вашими головами неустанных путешественников, затертых в Ледовитом Океане Жизни.

Его Моя Биография Великаго Футуриста—Звено пролетающей Птицы с песнями.

Слушайте:

Я написал о Нем.

Я—это, как и Вы, вольный гражданин Мира.

Он—Единственный Василий Каменский, Великий Поэт, крыловейный Мудрец, Футурист-Песнебоец, Живой Памятник на глыбе Своего Творчества.

Он Автор 5 Книг: Стенька Разин, Землянка, Девушки босиком, Книга о Евреинове, Танго с коровами.

Он—Автор девяти неизданных еще Книг.

Он—Автор хоровода Лекций по России.

Ему ничего ненадо.

Я—автор—Его Моя Биография Великого Футуриста.

Я—с помощью Его создал эту книгу.

Мне надо Все.

Моя жадность безпредельна: я хочу славы, денег, комфорта, здоровья, любви, вина, сигар, курортов, размаха, пьянства, молодости, красок, музыки, стихов, цирков, театров, друзей.

Хочу Всего что—вокруг.

И только нехочу ни Я, ни тем более Он—власти.

Он—тропическое растенье, а Я—земля.

Его Моя—Наша Жизнь—Звено пролетающей Птицы с песнями.

Я никого неучу—я только приглашаю к себе в гости.

(ЧЕТВЕРГ)

Своему родному городу Перми.

Здесь Поэт родился, вырос и часто бывает, работая на Своей Каменке.

Поэт любит детски Пермь и Каму.

Но у Поэта здесь нет друзей—здесь гонят Поэтов взрослые пермяки—здесь никогда нерадовалось Творчество.

Здесь незнают Культуры, Поэзии, Слова.

Базар, Сибирская, Торговая — исчерпывают все интересы мещанскаго населенья.

Один книжный магазин—где стесняются выставлять на ветрины книги Поэта.

Скучно. Бледно. Жалко. Мелко. Эгоистично. Жутко. Вороны каркают.

Часто на улицах кого-нибудь бьют.

Две газетки самоубийно пропадают.

Подневольная молодежь всетаки ныне добилась университета: мильонер Мешков выстроил — на, учись.

Здесь еще думают, что Футуризм — дело антихриста.

Но Поэт любит детски Пермь и Каму.

(ПЯТНИЦА)

Надо качели.

Зеленоалыми золотыми балаганными блестками эй блести карусельное детство в памяти заржавленнаго с бородой чудака, ярче блести пока взрослый еще не подал прошенья в богадельню.

Пронзительно шармань металлическими голосами.

Взывай, барабань, верещи, глуши.

А то ухнет поздно.

Спасай дни денечки—тарелку с ягодами.

О карусельное детство.

К тебе Единому обращается дряблое сердце проквашенное жизнью взрослого—сморщенное бледностью сердце ведь помнит четко, что только детство питало его истинными творческими радостями, удивительными праздниками, яркоцветными приключеньями, необычайной фантазией, смелыми затеями, острыми выдумками, сокрушительным смехом и безпечностью летающих с песнями птиц.

О шарманка— пронзившая уши до глухоты малолетнему любителю музыки стоящему перед ней два часа с открытым ртом от удовольствия.

Где твоя звучальная мудрость.

Напомни озябшей от одиночества душе твой походный марш: в нем так много слышалось отважной решительности и рыцарской гордости.

Заржавленный с бородой чудак еще помнит, как под этот походный марш шарманки в карусельном детстве он вдохновенно дал клятву, что когда будет большим—непременно хоть ненадолго поступит в цирк артистом, чтобы наконец постичь все тайны парусиново досчатых кулис—таких недоступных мальчишкам.

Вот—где была штука.

Великая штука черной магии.

И как славно-гордо-значительно, что заржавленный чудак с бородой исполнил свою клятву через 23 года.

И снова стал молод, гибок, певуч и упруг.

Старики в калошах и с зонтиками да фельетонисты (Утро России, Театральная газета, Журнал Журналов, Новый Сатирикон) осудили: в цирке чистый народ, а народу по их мненью довольно дрессированных верблюдов и говорящих собак (впрочем эта критика—Василий Каменский в Тифлисском цирке—была за два дня до революции—конечно теперь эти фельетонисты проповедуют демократизацию искусства: им все равно.

Исцеленье детством.

Только всего один исполненный жест—и жизнь орадостилась, расцвела.

Значит еще не ухнула старость.

Спасай-же детство, спасай.

Бросай спасательные круги в реку уплывающих к тухлому старчеству.

Бросай и возникай в еще юных возможностях, в еще вольных движеньях.

Ведь так много чудесного неисполнено, что если хоть одно осуществленье привидится во сне—человек пробуждается от счастья.

На кой она чорт—эта взрослость.

Каждый взрослый – полулешачье.

Каждый ребенок — мудрец, затейщик, творец, раздольник, певец интунции, анархист, футурист.

Каждый последний ученик умнее и талантливее своего учителя, который только и знает—словоплетку:

— Нешали.

Ух и идиоты же эти педагоги в очках.

Не даром ведь все великие люди в Искусстве или выгонялись из школ или ученики убегали как из тюрьмы.

Великие дети знали цену своей воли.

И остались великими детьми.

Ведь неслучайно все великие мастера Искусства так походят на больших детей, так любят детей, что и сами всегда не прочь на деле вспомнить жизнедатное детство, претворяющее воду в вино, жизнь—в фантастическое преображенье.

Неслучайно и то, что Василий в Крыму весной (1916) проповедывал на лекциях в Ялте – Алупке— Симеизе о еще непотерянной возможности счастья стать всем морским гостям разом взрослыми детьми на цветущем берегу моря, чтобы хоть один день или два (на пробу) уразуметь всю красоту крымской молодости.

И будьте дети. Христос воскресе.
И все сольемся в святом кругу
В кругу звучальном и венчальном
На черноморском берегу.

А сам Василий—первый ребенок.

И мне стоит больших сил удерживать Его детские затеи—единственные Его радости—праздники.

Я взрослый (тоже почти полулешачье) — или играю во взрослого—и меня кандалами, тюрьмами,

бойкотами, общественными мненьями, прессой — учат насильно быть — как все дураки.

Сдерживая Его—я оберегаю Его жизнь.

Все граждане кричат, поют, пишут, говорят о свободе личности

Но начни я несдерживать (только начни—даже говорить страшно), неостанавливать вольного из привольных ребенка Поэта и я убежден—гениальнаго Василья Каменского убьют палками, камнями.

Дурацкой толпе городов—Гении ненужны, а Поэты Духа—тем более.

Ведь еще никакая государственная власть не приказала слушать проповеди о идеальной жизни Поэтов Духа и неприкажет: потому что Поэты Духа скажут, что власти быть недолжно, или что все абсолютно равны и каждый — всякий человек—властелин мира.

И многое в этом масштабе.

Вот в детстве все—боги, все—рыцари, все Колумбы, все—Робинзоны Крузо, все—Стеньки Разины, все—Друзья.

Детство спаси нас, научи, создай.

О карусельное детство.

Посоветуй, крикни во все горло Интуиции как бы устроить качели, да такие качели, чтобы на них уселось с десять тысяч наряженных девок и с эсколь же парней в кумачевых рубахах с гармоньями, орехами, пряниками костромской росписи.

Значит нужна такая дощища и канаты толстущие.

Ну это можно сделать, а вот как бы привязать к небу, чтобы раскачаться одним концом до луны—другим до солнца или еще выше.

Я сказал Ему, что эта Его мысль одна из справедливых—Поэт спокойно ответил:

— Да—в этом все дело—надо Качели.

(СУББОТА)

Я и Он.

Я и Он.

Два лица, два существа, два друга, две дороги рядом, два бога, два дьявола.

Я—это когда вкусно и плотно обедаю, пью вино, чорный кофе, курю дорогую сигару.

Он—это когда в полетах птиц, в движеньи ветра, в изгибе радуги, в травоцветеньи или в ритме прибойных волн моря—видит мудрый смысл песни:

И где нибудь в шатре на Каме
Я буду сам варить картошку
И засыпая с рыбаками
Вертеть махорочную ножку.

Он—всегда в творческом созерцаньи.

Он—бесплотен и легок как ангел.

Я же—весь в суете человеческих дел и непрестанных событий.

Я всегда—со всеми в куче муравейника.

Он — одинок, высок и оснежен вечностью— будто вершина Казбека.

Я коммерсант или кавалер, пассажир или рабочий, квартирант или слежу за чисткой щиблет и зубов.

Я—главное—издатель Его сочинений, антрепренер Его лекций—гастролей, устроитель Его выступлений—триумфов.

Он—трепетно—гордо любит Книгу, а я занимаюсь распространеньем.

Он—любит подарить Книгу Свою, а я предпочитаю продать и получить деньги.

Он—сгорая в увлеченьи—читает лекцию и следит за красотою стройности речи, а я думаю о кассе—1500 там или 1800.

Ему подносят цветы—зимой пунцовые розы—Он нюхает, вспоминая любимую, а я знаю, что эта корзина роз стоит приблизительно 150.

Его часто приглашают выступить с речью или со стихами и Он никогда не подумает о гонораре— меня же гонорар интересует нервно и я жду высокой заработной платы, как этого ждет каждый мастер у своего станка.

Ведь я знаю—Ему необходима вольная, широкая, многогранная, яркая, феерическая жизнь.

Жизнь—Поэта Жизни.

Жизнь—путешествующего бога с подарками.

Жизнь—открывателя апельсиновых рощ.

Жизнь—пролетающего на аэроплане Современности.

Жизнь—Актера (Монахова или Шаляпина) Театра для Себя по Евреинову.

И для всей этой театрализации жизни—нужны большие средства.

Правда—я также знаю, что Он часто живет иной—нездешней жизнью и доволен ничтожным и до жуткого малым.

Это когда Он — рыбак или странник, созерцатель или иог, отдающий что имеет.

Дон-Кихот или Робинзон Крузо.

Или — за работой в творчестве.

Но и для этой святой жизни — требуются деньги.

Я все это знаю и достаю их, как умею, как хватает всех сил.

Вся моя жизнь — для Поэта.

А кроме него есть еще моя семья на Каменке и я должен заботиться о них — и заботиться мне и Поэту приятно.

Я бьюсь, выдумываю, изобретаю.

Иногда мне бывает очень трудно, но я — сильный пока и побеждаю.

Как каждый — если остро нуждается — если слишком грозит кризис или гибель — я иду на все и презираю условности и плюю на мещанскую мораль.

Я всегда готов на каторгу за спасенье Поэта.

Голубится голубь веющий
Над моей избой
Благослови Аминь алеющий —
Святой разбой.

Он мне написал эту молитву и я понял ее по своему. Во имя Истины я совершил ряд святых разбоев и в моей душе нет капли раскаянья, напротив — я горд за Молодость, за смелость, за жест решенья, за Него, за счастье быть названным друзьями:

— Святой разбойник.

Я совершенно справедлив в своем спокойствии.

Я строго автономен в жизненной борьбе, как Он в своем Творчестве.

Часто мы немешаем друг другу, а иногда расходимся во взглядах и начинаем состязаться в истинности положенья.

Побеждает тот из двух, кто в данный момент окрасится ярче, острее, звучальнее.

Пример: от Давида Бурлюка получил, приглашенье ехать в Японию с своей живописью и поэзией.

Он восторженно засиял и готов бы срочно телеграфировать:

— Выезжаю курьерским.

Я же сказал Ему:

— Для поездки в страну хризантемных гейш нужно 4000, а у меня пустяки.

Отложим Поэт до чуда—чудо придет.

Он согласился.

Потому что верит Он только чудесам, а я опытный режиссер жизни сам тонко и искусно ставлю эти чудеса.

Впрочем иногда неожиданно просто вдруг повезет и я облегченно вздыхаю, радуясь за Него и за свой маленькій отдых.

Я много работаю и очень устаю, но никогда никому не жалуюсь: ведь знаю что всем-всем по существу наплевать и на меня, и на Него (с особым удовольствіем), и на все божественное Искусство.

Тупой эгоизм близких, друзей, врагов — одинаково преимуществует.

И никому нет дела до меня и Поэта.

И если завтра сгинет Поэт с голоду или от гнета нужды—никто может неузнать об этой великой печали: потому что никто незаботился о Нем.

Для эгоистов важно пожалуй, чтобы Он лишь бился создавать, творить, гореть, учить, возвышать, славить.

Принято верить, что культурными государствами управляет мудрая народная власть, обвеянная революціонными победами и лучшими идеалами Человечества, но никто незнает случая—где (даже нетъ въ проэктахъ) эта мудрая народная власть избрала и вознесла бы Поэта еще при молодой жизни Его до себя.

До себя — перед всемъ народомъ, передъ всеобщей Единой Совестью, перед океаном людских душ, жаждующих истинной красоты творческаго слова.

Невежеству народа власть противоставляет дисциплину гражданского сознанья и законы о подчиненьи начальству.

Духовной жажде народа власть противоставляет литературу мелкой земской единицы или по улучшенью рогатого скота.

Будто все вопросы жизни—только брюхо и буржуазный покой, демократизированный массами.

А где творчество жизни Духа Страны—где источники талантливости—где залежи Мысли и Чувства—где бог внутри—где чудесные песни—где размах вольной мощи урожайных сердец.

Это чует глубинно только Поэт.

Власть же этому Единому Оправданью жизни—значенья не придаёт.

Пускай гибнут Поэты въ мировой тоске и с Ними великие из мастеров Искусства—лишь бы мудрая народная власть следила, честно за государственным порядком и продовольствием.

В мильонах (на мильоны народа) экземпляров власть распространит в любой момент по стране любой сборник по политической экономии и никогда (хотябы приложеньем что ли) неотпечатает и неразошлет великую Книгу гениального Поэта Василья Каменского—Стенька Разин.

Так истинно разсуждаю я — гражданин вольной России — и знаю, что мерзавцы мрака и кретины — критики будут по свинячьи хрюкать в мою сторону.

А власти на Поэта наплевать.

Я и Он — мы останемся на веки на острове Одиночества.

Я—рыцарь Грядущаго Мира—Пятница.

Он—верный Себе Робинзон Крузо.

И оба мы—сверх оптимисты.

Ни я, ни тем более Он — величайший изъ современных мудрецов — несмотря на все ложно—свободное (торжество революции тела)—никого ни-зачто неосуждаем, нетребуем исправленья.

Я только желаю духовнаго просветленья, высшаго напряженья разума, океански творческаго разлива до чудес.

А Он—эхх, Поэт.

Он вот смотрит на солнечное небо и говорит:

— Сегодня я опять там слышу симфонію—это кричат орлы.

(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Пришел Поэт.

Эй—вольная гражданка или вольный гражданин — Товарищ — чьи светлые глаза сейчас читают эти искренние страницы—поймите Истину—возьмите в сердце свое Встречальное чувство, с которым Вы ждете любимое и заветное.

Да пронзит Вас благословенье Поэта, с утренним челом всегда гонимого на Голгофу Распятья толпой купцов и мещан, хулиганствующих за счет антикультурности и врожденного кретинизма.

Да пронзит Вас Творческое обаянье Поэта до последняго дыханья своей земной жизни отдающого Вамъ свою поющую Душу.

С чарой хрустальной
В руке неустальной
Горнокавказским орлом
Душой солнцевстальной
Чеканно кристальной
Я лечу на Великий Пролом.

Слушайте:

Ужели Поэт для того творит Песни, чтобы Вы в час сытного досуга могли усластить свое наслажденье поэтической приправой.

Ужели для того пришел в мир Поэт, чтобы напечатать несколько томов сочиненій, прославиться гениальным дарованьем, нашумѣть футуристической яркостью, напиться до состоянья мумии среди друзей и врагов и сгинуть, оставив послѣ себя литературное наслѣдство родственникам, непризнававшим Поэта при жизни, и где нибудь на пыльной площади дурацкий Памятник (какой нибудь бездарный бюст, на плеши которого—всегда птичьи экскременты) с дурацкой надписью:

— Великому Учителю—ученики (с золотой медалью).

А ученики сонно ходят мимо пямятника, удивленно думают—кто неизвестно поставил статую и—если никого нет около—просто мочатся у пьедестала.

Ужели для того, планетно возник из звездной туманности Поэт, чтобы доказать свою ненужность, безсилье, напрасность, тщету, чтобы—как все люди—совершить звено переселенья Души, уйти в пространство и родиться снова может быть тростником на берегу священного Нила.

Ужели для самоувлеченья—самовлюбленности—самоопьяненья выявляет Поэт своего внутренняго бога—озаренного утренними взлетами Ритма—

Все к Мечтам
Все къ любви безпечальной
Все как птицы—
Судьбой в высоту

В жизни станем поэмой венчальной
Расцветать красоту.
(Девушки босиком)

Или ошибка роковая, или совсем не то, или мировое сумасшествие, или стихийное безумство—
— Это Поэт и Его Поэзия.

Все ясно и просто, как трава—если быть мудрецом Духа.

Все спутано и сложно, как ночью в лесу—если быть обыкновенным блуждающим без дорог—без вопросов человеком.

А таково все, т. е. величайшее множество.

Мудрецы Духа—истинные люди—Впереди.

Поэт—голубь из ковчега Грядущего.

Однако Мудрецы Духа (сейчас их горсть) и Поэт—голубь—это только утешенье—как все Грядущее—только единственно оправданный идеями оптимизм.

Истина же Едина—Поэт Одинок, Поэт Колумб Грядущего, Поэт—Пророк жизни богочеловечества.

Сегодня—вот сейчас—когда светлые глаза читают эти искренние страницы—разве сейчас Вы—товарищ—даже в этот наиболее благоприятнейший момент духовного сближенья с Поэтом Васильем Каменским—разве Вы согласитесь открыть свое сердце нараспашку и впустить Его во всей юной красоте футуристического карнавала.

Разве Вы оденете Душу свою алошелковым желаньем встретить чудесного Гостя—заморского—звездного гостя с неземными дарами яркоцветного Духа.

Разве Вы сумеете ответить рыцарски—безкорыстно—беззаветно—подвижнически на Его расцветную близость, на Его мысли, изгибы, горенья, размах.

Разве—вообще Вы назовете лучшими чувствами Его—желанным Другом.

Нет. Нет. Нет.

А Он Ваш-первый Другъ—Другъ Вечности—Ваш Всегда Близкій рыцарь—Ваш желанный Гость—Верный Спутник приливающих Дней—Вашъ Поэт Василий Каменский.

Поэт—Мудрец Духа—которому смѣшны памятники, непонятны юбилеи, академии, законы, правила, забавны профессора искусства, критики, пресса с уголовными романами и объявленьями о половом безсильи.

Поэт, который знает, что Книга Его Поэзии—как каждая Книга Слов—есть для всех—случайный цветокъ въ бутоньерке.

И только для самого Поэта—Поющий бог.

За Песнями—с Песнями.
Благословенье в одном:
Океанским крылом
Взмахнём по земле
И полетим
На великий Пролом.

Поэт неустает звать к полетам, к вершинам, к раздолью, к нездешнему.

Всѣ земные—тяжелые—черные—вялые—а Поэт неустает звать.

О Единственный лебедь в облаках.

Гуолн—гуолн—глик.
Гуолн—гуолн—глик.
Зовно тает скитальческий крик.
Солнятся крылья

Внебемолниеснежные
Печаля на веки.
Опаловый след.
Лебедь покинул—
Прощаль незамолчную
В озеро кинул.
Низко сгрустились
Грустины прибрежные
У омута слезных
Источников бѣд.

(Девушки босиком)

О—товарищ—чьи светлые глаза сейчас читают эти искренние страницы—поймите истину.

Слушайте:

Доверчиво—дружески, близко, совсем близко подойдите къ Поэту—отдайтесь Воле Его—будто погостить—отдохнуть—забыться пришли к Поэту—

И Он

Легкой и плавной—какъ облако—творческой фантазией опьянит Вашу жаждующую Душу вином освобожденья отъ земной суеты и сказочно преобразит Вас в существо божественного ощущенья—

Хрустально—розовые крылья вырастут за Вашей спиной и позовет за собой колебанье протекающих волн бирюзового воздуха.

Радужный расцветом вздрогнет Ваш бог внутри и откроется иная жизнь—жизнь высшаго Смысла.

Поэт уведет Вас в Страну у нездесь берегов, в странную качальную Страну—Гдетотамию солнцекожих Иогов—властителей Духа Воли, которым повинуются пространства Вселенной.

Поэт даст Вам звездный покой вершинного созерцанья Мудрости.

Поэт утровеющей Своей Молодостью вольет в каждое биенье Вашего сердца трепет неисчерпной бодрости Ребенка.

Моейко сердко снова детка
Плывет как ветка по воле лет
Плывет играйка малолетка
Моя поэтка. А я—Поэт.
(Девушки босиком).

И Он сделает Вас играющим, звучальным, затейным, сияющим.

Он станет Вашим первым Днем.

Он все отдаст Вам, а Сам ничего не возьмет—кроме Вашей духовной ароматности Дружбы.

И пролетит мимо поющей птицей Хоулнстэй к Коралловым островам пальмовой тенеюжной вечерней прохлады.

А пока Он Близко:

— Подойдите к Поэту, оправдайте Его Пришествие, впитайте вино Песен во славу преображенья.

Как вольная радость Чуда—Он необходим Вашей жизни для встречи смысла завтра, для новых Друзей.

— Жизнь коротка—как чарка вина,—а друзей мало и надо любить, ценить, огненно искать их.

Он же—единственный рыцарь Дружбы.

Ведь это Он сотворил книгу—Стенька Разин—где в творческом бунте выявил всю русскую вольную молодецкую Душу Народа Богатырского, спаянного на веки вечные дружбой несокрушимой, да раздольными разливами урожайных Песен.

Ведь это он сказал:

— Песнебоец Стенька Разин живет в каждой Душе—каждом Сердце—каждой Мысли и оттого в каждой Песне—Судьба каждого, кто бунтует за Во-

лю Вольную, за силу творческую, за разгул безшабашный, за богатства духовные, за славу народную кумачевую, стихийную, талантливую — и оттого в каждой Песне—Свободная Россия и вся Россия — одна великая, артельная, молодецкая Песня.

Песня или Россия—не все ли равно.

Все распахнуто, все сказано, что спето.

Это Он—Стенька Разин.

И Вы—товарищ.

Поэт вложит в Ваши руки кистень буйной Воли и сделает Вас святым разбойником, как Он Сам.

Пользуйтесь близостью счастья назвать себя другом из шайки святых разбойников.

А если Вам страшно лететь в бурю на Великий Пролом затей Стеньки Разина и если Вас неопьяняет лирика книги Девушки Босиком и Вы разочарованы аеропланами Современности (книга Танго с Коровами), нежелаете жить Паном—Робинзоном Крузо среди поэмы—Природы—в Землянке (роман), нехотите разделять восхищений режиссером Жизни (книга о Евреинове), неинтересуетесь Его гастрольными многочисленными лекциями о Жизни—Футуризме—Творчестве и—наконец—Вас нетрогает Его биография Великого Футуриста—

Тогда—товарищ—Вы подойдите ко мне, как к самому простому Пастуху—Его стада всяческих творчеств.

Подойдите непременно.

Он — Поэт — слишком идеализирует дружеские приближенья и совсем нетак—мне кажется—представляет нашу жизнь—заблудившихся в лесу суеты без вопросов.

Поэт дышит Истинами.

Поэт создает Чудеса Откровений.

Поэт — Мудрец Духа—предвидит ясно все концы и последствия человеческих дел и каждое движенье мысли—Ему понятно и известно.

Поэт—спасающий Пророк.

Поэт—вездесущ, многогранен, океански широк и глубок.

Но Он всетаки в чем то сознательно ошибается—иначе Он небыл бы так Одинок—Одинок до обожествленья.

Товарищ—чьи светлые глаза читают эти страницы—подойдите ко Мне.

Я тоже—как Поэт—нестерпимо одинок в своей жизни: у меня мало друзей и я ищу, огненно ищу.

Ради Поэта и ради себя—подойдите ко мне: я буду ждать и верить в Вас.

Жизнь коротка.

Воспріятіе Слова.

P. S.

Специалистам психо-физиологам:

Известно, что Брока открыл (в коре большого мозга) двигательный словесный центр.

Впоследствии Вернике открыл (верхней левой височной извилине) второй чувствительный словесный центр.

В этих центрах организуется словесное представленье (иные исследователи эту организацию слова несвязывают с определенными местами мозга).

Кусмауль-же—яркий знаток этой области—изучивший различные болезненные состоянья центров речи—собранных под общим названьем **Афазии**—дает всѐ основанья предполагать что стан читателей сплошь страдает афазией и поэтому не в силах воспринять высшее мастерство слова.

Накануне я говорил, что Поэт в чем то сознательно ошибается — и хотел этим намекнуть на огромную долину общого непониманья, лежащую меж двух гор: Поэтом и читающей публикой.

Поэт — мастер-строитель высшей организации Слова—Мысли—Речи—Формы.

Поэт создает Книгу насыщенную яркими образами, ритмической стройностью фраз, волей ясного разума, любовной чувствительностью к завершенью творчества, непрестанной взрывностью словесного трепета.

Книгой Поэт являет законченную Волю своего дарованья словесного мастера — только частично использовавшого крайне ограниченную возможность передать свою многогранную гениальность.

Ведь Дух, Огонь, Чувства, Размах, Глаза, Горизонты, Крылья, Сочность, Аромат—остаются с Поэтом жить, вечно изменяясь во Времени, вечно расцветая.

Это—Эльбрус Поэта.

А читатели—это Экскурсанты (Москвича или Горного клуба) едущие на линейках из Кисловодска на гору Бермамыт встречать перед Эльбрусом восход солнца.

Кто эти читатели—случайные экскурсанты, всегда гости, которых надо забавлять, ротозеи, любопытствующие, скучающие, одинокіе, заброшенные, больные и Чудаки.

Еще влюбленные, знакомые, друзья (редко родственники), враги, арестанты и — вот главное и единственное—Чудаки.

Всем этим читателям можно было—дело случайности—по существу и неездить на Бермамыт, а только пожалуй достаточно знать о существованьи Эльбруса Поэта Василья Каменского.

Поэт, сознательно ошибаясь (пример: выпуская Книгу), знает о долине разобщенья с читателями и глубинно скорбит о своей одинокой судьбе недошедшого до сердца читателей Пророка.

И это потому, что читатели—как случайные гости Книги—лишены способности точно воспринимать смысл и назначенье Книги, как истины.

Понятно и просто: читатели словесно неразвиты или вернее неорганизованы для воспринятия образа—мысли, всегда рассеянны, хаотичны, заняты совсем другим: масса разных дел, книга же—между прочим.

Книга читается урывками, скоро, поверхностно, по-дачному.

Психология читателя в перерывах резко меняется, перекрашивается.

Словесные центры перемещаются.

Поэт выливает слово—в вино, а читатель пьет воду.

Читатель невпитает сущность Книги, непойдет за Поэтом—о нет.

Если слово для Поэта самоцель, самоценность, а мысль движенье, полет.

То для читателя то и другое—средство, продукт и что то мало понятное.

Спеціалистов-читателей ведь нет — значит нет здоровых, развитых, организованных воспринимателей слова.

Все читатели страдают афазией во всех стадиях по Кусмаулю и особенно—парафазией, при которой сцепленье представлений со словесными образами настолько извращается, что вместо логически-красивых сочетаний слов получаются ложные совершенно искажающие смысл творчества.

Одна из распространенных стадий среди читателей—это словесная слепота.

Страдающие ею прекрасно (особенно критики) видят глазами напечатанные слова, но не в состояньи понимать их и группировать в сознаньи.

Платен утверждает, что для совершенья восприятья словесных форм—условностей нужна энергичная работа воспитанья (дело культуры), что чело-

век быстрее всего усваивает речь мимики и жестов: потому эта речь является природною речью глухонемых и идиотов.

Во всяком случае—если книга читается Чудаками или Друзьями или Возлюбленной—эти читатели пронзенные лучами Интуиции принимают Поэта целиком индивидуально, но и они далеки от истинного неба Книги.

И тут—долина, и тут не то.

Значит есть роковая ошибка—трагедия.

Книга—как ее читают и понимают читатели—для Поэта—смерть, ничто, проклятье.

Рожденье.

Я родился 1884 в 5-й день Апреля—в центре Урала—в 35 верстах от Теплой горы в поселке Боровское, на золотых приисках.

Дед Филипп Каменский (по отцу был врачом в Перми, имел сыновей: Петра, Василья, Александра, Николая.

Дед Гавриил Серебренников (по матери) служил командиром камского парохода, имел сыновей: Михаила, Константина и дочерей: Евстолию, Александру, Ольгу и Глафиру.

Сын Филиппа Василий 1878 женился на дочери Гавриила Евстолии.

Молодые супруги Каменские—Василий с Евстолией уехали въ Теплую гору, на Урале.

Василий Филипповичъ получил место на золотых приисках Шувалова—управителя.

Устроились жить въ промысловом поселке Боровское на готовой квартире.

1880 родилась дочь Мария.

1884—сын Василий—я.

1886—сын Григорий.

Мать была красивая женщина: с большими вьющимися светлыми волосами, голубоглазая, стройная, женственная, кроткая.

Ей нравилось пышно модно одеться в шолковое платье с длинным шлейфом.

В пермской гимназии она училась первой, сильно выделяясь способностью рисовать.

Она прекрасно пела русские грустинные песни.

И я помню ее трехлетним, когда она больная—чахоточная лежала на кровати и пела:

Отворите окно отворите
Мне недолго осталося жить.
Хоть теперь на свободу пустите—
Немешайте страдать и любить.

Весной ей так хотелось солнечного лесного воздуха, а окно так и неоткрыли.

Я помню много людей: мама умерла 1887.

Энергичный, жизнерадостный, интересный, остроумный отец нестерпимо затосковал по любимой подруге, ушедшей на веки.

Страстный охотник он редко стал ходить на охоту.

Помню: он тихо но долго шагает по комнатам и все что то думает.

Осенью сестренку Марусю отправили в Пермь учиться, а перед тем помню такое: стал я с ней играть— на нарошечных картонных весах—спелую клюкву весить,—Маруся выбрала самую большую клюквину, насквозь проткнула ее тремя булавками и предложила мне проглотить—на счастье.

Я взял да и проглотил.

А потом мне было скверно, но я молчал по совету сестренки.

Еще помню: отец пришел с охоты, принес рябчиков и на другой день за обедом меня заботливо угощал рябчиками и спрашивал—где мама.

У меня сохранилось единственное письмо отца 1887 и вот несколько строк:

— Я больше неупотребляю лекарств, только изредка пью жир да и то как-то все забываю, теперь думаю пить молоко с коньяком—это мне советует наш промысловый доктор.

У отца развилась аневризма—расширенье артерии.

Осенью 1889 отец скончался.

Опять помню: было много дома народу, мне сказали, что отец крепко спит и надо разбудить его к чаю.

Я долго будил его, хлестая рубахой.

Он невставал с тех пор.

Дядя Костя увез меня в Пермь.

Меня взяли на воспитанье Трущовы: тетка Александра (родная сестра матери) и ее муж Григорий Семенович, который управлял крупным буксирным пароходством Любимова (оно есть и ныне) в Перми.

Семья Трущовых жила на готовой квартире—особняке, около пристани на берегу Камы—в полгоре.

Это был двухэтажный деревянный дом, а кругом дома огромное место – угор с редкими елками, пихтами, тополями, огородом, конюшнями, сараями и дивным Ключом, бьющим из горы в чан – избушку.

Верхний этаж дома занимали Трущовы, внизу жили матросы, кучер, садовник Никитич и матерьяльный.

На эту пристань, в дом к Трущовым меня и привезли на жизнь дальше.

Сестренка Маруся, начавшая учиться осталась у тети Ольги—родной сестры матери—вышедшей замуж за Ивана Гавриловича Волкова—дядю Ваню.

Братика Гришу взял дядя – Петръ Филиппович Каменский—брат отца.

Жизнь Васи началась:

босиком по крапиве

Детство (*этот стих написан въ Перми на пристани когда было мне 11 лет*)

1884 на КАМЕ
на КАМНЕ

Вася КАМЕНСКИЙ
апрель 5 перед ПАСХОЙ.
С золотых приисков
на буксирную пристань
Любимова.
Свистки пароходовъ
ПО НОЧАМ
всплески плис
и на мачтах огни.
Мы одни.
Отдают якоря.
Отъ чудес
трое жались
под одним одеялом.
Вася, Алеша и Петя.

На пристани
в рупор кричали.
Из какой то страны
приставали
с баржами.
Мы уставали
по мешкам и ящикам
в красных лабазах.
ВСЕ УТОНУЛО.
Запах дома остался
и манит
за Каму рыбачить.
Молчу—чу—чу—кузнечик:
ци—ци—вий
ци—ци—вий.
Давай поставим
западенку.
Завтра
воскресенье—
надо
очень рано встать—
В тумане
вдруг
пароход у окна
и **арбузы**.

На пристани на Каме.

С золотых приисков уральских гор Кочконара и Теплой—на берег Камы, к пароходам—это был Васин первый перелет, полный острого впечатленья и жуткой неизведанности.

К тому же новая семья—и все смутно.
Ребята: Саня, Соня, Алеша, Петя.
У тети Саши кто то рождается еще и умирает.

Дядя Гриша—строгий, никогда несмеется, неиграет с детьми, за столом шалить невелит и матросы его боятся, он всеми распоряжается, его страшно слушать.

Вася—Алеша целые дни болтаются по угору,—если лето — пускают змейки, сами клеют, стружат ножами дранки, бегают к ключу—там около чана ящик-садок с рыбой: стерляди, язи, налимы—живые, плавают.

Или торчат у матросов внизу—разглядывают их, слушают: там целые чудеса разсказываются.

Матросы что нибудь им устраивают, забавляют, балуют.

Я — ВАСЯ — В СОЛНЦЕРАДОСТНОМ ДЕТСТВЕ.

Внизу еще жил Никитич
Черемный он и делал иконы
Носил огурцы из парника
Нам и кормил птичек
У коровьяго загона.
Все ладно—
Только нас нетронь.
Да нетронь пожалуйста
Нисколичко—мы тоже голуби
А-гурль-а-гурль.

Только разыграются — обедать зовут, сиди вот смирно, разве ногами поболтают.

Няня у ребят была давнишняя—славная и все ворчала на Васю.

Узатейщик
Нещувной разгайло—
Убежал опять.
Лей щи в хайло.
Кукла. Верный.
С забора мы
Легко залезем на крышу
Сеновала—
Оттуда жизнь
Еще привольней.

Всю радость разносили по галькам берега, по бревнам плотов, по поленницам.

Заимка наша—
Гора и берег Камы
Домик в косогоре.
Баржи и плоты.
Пиленым деревом
Пахнут вечера́
Сегодня как вчера
У балагушек лыковых
Где пильщики—татары
Костры дымятся.
Скрипка и гармошка
Длинно голосят.
Кого то зевласто зовут—
Татарята ревут.

Кто то сказал ребятам, что земля кружится.

Вася залез с чердака на крышу дома к трубе и действительно увидал, что жизнь кружится и ветер кругом—высоко, страшно упасть.

Змейки клеили
С дребезжалкой
К небу запускали
И—удивленные—следили
И резвой и жалкой
И обиженной душой
Самим летать хотелось:
Птиц полеты
Казались просты и легки.

Недвижность ястреба
Раскрылённая
Сулила затейщикам
Удачи выдумок.

И случилась с Васей острая беда: взрослых дома небыло, ребята играли на балконе, а Вася заявил, что полетит сейчас на елку, залез на край балкона, замахал руками и упал на землю, расшибся, долго лежал без сознанья, водой отливали, водкой растирали, ожил.

Нянька утешала Васю: ничего — говорит — до свадьбы все заживет.

Улога в косогоре,
бил ключ студеный.
Чан от травы зеленый
Чанил воду.
Ведёрный стук
Баскущих водоносиц
И скрип росписных коромысл
Вносил ядрёный смысл.
Как в чулане
Чудаки—

Жили в чане
Стерляди и судаки.
Мы их жалели
Кормили и ели.

Вертелись дни и пахло яблоками.

Ночью няня рассказывала или про ведьм, про оборотней, про банных.

И ночи-то чернуще-долгие.
Проснешься страшно:
Блазнит—кто-то—ой.
Глубже лезь под одеяло
И корчись чуть дыша.
Пока не улетела
Заячья душа.
Одеяло тыщу раз спасало.
И подушка.
Вповалку лучше спать—
Да не с краю.

А утром неверилось в леших.

Приходили в гости Нина, Маня ночевать под праздник, они были городскими и иначе все понимали и все разсказывали.

Вася слушал и удивлялся.

И под каждый праздник
В благовест
Ходили все в Никольскую—
Ко всенощной.
Шалить дорогой не давали
Поэтому с собой в карманы
Брали сахару хлеба и

Какую нибудь свистульку.
Свет свечей, лампад
И золотые отблески,
Пенье хора строгое и
Ладан—
Вносили в душу
Совсем иную жизнь ангелов.

Все вокруг—каждый шаг—надо было проникнуть, со всем вокруг слиться.

Сверлоголовые угланы
Со слудских улиц
В наше чистое гнездо
Таскали
Понятие о городе.
Мы были рыцари—
Им доверяли
Свои сокровища,
А городские канальи воровали.
Мы несердились,—понимали
Всех разбойников.

Школа.

Одно лето на даче в Лёвшине забавно жили.

А осенью тетя Саша повела семилетняго Васю в школу Слудской церкви.

Вася начал учиться.

Васе сшили синюю форму, купили книги с картинками, пенал, сумку, тетрадки.

Вася стал рано вставать, пить чай и уходить в школу.

И первый год учился прилежно: все приглядывался к обстановке.

Во втором классе сразу разбаловался, начал дурачиться, неучить уроков.

Стали вызывать тетю Сашу в школу и Васе начало попадать, и здорово.

В школе ставили в угол, оставляли безобеда, дома ругали, теребили за уши—волосы.

Школа сразу опротивела.

Однако он ее кончил и Васю определили в другую школу—на базаре—в двухклассную городскую.

МОИ МАМА И ПАПА

Там было интереснее — больше книг — больше ребят, больше шалостей — прибавилась гимнастика — Васю стали больше дома лупить за все это вместе.

Начал учиться в реальном Алеша, Саня в гимназии.

Кама.

Кама—вот волшебный журчальный источник утрозарных радостей, неожиданных праздников, яркоцветных затей, славных подвигов.

Кама—будто первый верный друг, никогда неизменный, всегда близкий, добрый, светлый.

С самой ранней весны, как проходил лёд, прибывала вода, появлялись параходы, подавая свистки, ставились нефтянки, пристани, а на берегу целые дни рыбаки смолили лодки, иные—мартышки—ловили дрова баграми, по вечерам сакали рыбу—Кама с каждым зеленеющим днем обещала все новые восторги, новые возможности, новые костры в отраженьях у берегов.

Кама - единственное—как Солнце—счастье, ласково матерински обвеявшее мое сиротское детство теплыми чудесами.

Кама—вот кто была моей желанной подругой ни разу меня не обидевшей.

Кама — вот кто была моей крыловейной сказкой впервые разсказавшей моему сердцу изумительную правду: будто во мне живет нечто иное—второе существо, которое будет называться после Поэтом.

Тогда я непонял значенья этих великих слов о Поэте во мне, но всем своим существом я почувствовал Истину.

Бывали мгновенья—чаще вечером у окна—когда один долго смотрел на Каму я действительно ясно ощущал в себе совсем иную жизнь, похожую на песню, на птицу, на ветер, на облака.

Я горячо радовался что во мне живет способность вольно мыслить, думать. переноситься, воображать — тогда я вспоминал о сказках, песнях, книгах.

Все настойчивее я представлял себя другим, совсем другим—кем можно быть.

Кама — волновала мои воображенья, куда то звала, обещала, дарила сны.

Однако жизнь моя — ребенка — мальчика—ученика шла своим чередом: мне снова хотелось играть, бегать, кричать, спасаться от взглядов дяди и тети, звать Алешу озорничать, затевать дела на пристани, на Каме, в ограде, в своей клетушке.

Птицы поют.

Пуще всего Вася с Алешей любили ловить птиц и ловили их с любовным мастерством.

Сами садки, западёнки делали, а больше покупали.

Ловля шла в любимовском саду, около озера, между лесной горой и прядильней—эта прядильня тянулась с версту и там появлялись прядильщики с бородами и шли они взад пятки.

Из окна—отверстия прядильни можно было наблюдать поставленную западёнку и подсвистывать кузек:

— Ци—ци—вий. Ци—ци—вий.

Вот под праздник пошлют к обедне Васю и Алешу, а они припасут западёнки да и ловят птиц.

Тройная таинственность: удрали от обедни ловить, чтобы никто неувидал и кабы птицы незаметили.

Объяснялись жестами, наблюдали с диким волненьем и уж если захлопывала западёнка кузю или жулана—бежали снимать, угорело скакали, присядали от счастья.

Была у них балагушка своя в угоре около дома в ёлках и там птицы в садках висели и – главное— покурить можно мох, выдерганный из бани.

В балагушке все затеи придумывались и мальчишки туда заходили по разным делам и всегда тихонько, таинственно.

И всегда эти мальчишки что нибудь стянут, выманят.

Раз Вася—Алеша пришли в балагушку и смотрят: крыша отодрана и все садки с птицами украдены.

— Вот те на.

Решили, что спер Санко Зеров или болотские.

Всетаки часть у Зерова нашли.

Зеров—тоже птицелов на монастырской—если идти в Слудскую церковь всегда видать в окнах беднаго дома садки с птицами, а сквозь тын забора шестик с перекладинкой и западёнка висит со щеглом или с кузей.

Братья Зеровы не хуже умели ловить и рыбу— поэтому Вася—Алеша их уважали.

У Васи — Алеши — Пети в комнате жил один клёст—совсем их приятель.

Клест свободно вылетал из садка, сам открывал перекрещенным носом дверцу, находил себе что надо: иногда промокашку из тетради утащит в садок и разорвет на мелкие кусочки, иногда хлеб стащит и поет—разговаривает.

Стали окно открывать на улицу, а клест полетает по елкам и снова прилетит.

Вася—Алеша уехали куда то на дачу что ли—на несколько дней—приезжают, а клеста нет—значит нянька или кухарка закрыли окно, когда клест улетел и забыли про него, а он наверно стучался.

Вася ревел и ворчал на няньку:

— У бабы несчастные.

Жалко было друга—клеста.

Еще большими друзьями Васи—Алеши были собаки: Кукла и Верный, дворовые, хохлатые.

И все слова понимали, все движенья, все чувства.

Много раз Вася—больно надерганный за волосы за уши — за шалости — уходил в слезах к друзьям—собакам и те тепло прижимались к нему, лизали руки, утешая, успокаивая.

Были случаи когда Верный и Кукла бросались на рассерженных - кричащих во дворе тетю или дядю, спасая Васю от побоев.

Зато эти друзья—если видели Васю веселым—звонким—с радостным лаем скакали вокруг и возились отчаянно.

Из товарищей—мальчиков к Васе часто приходил Саша Потапов - с Набережной—и у него Вася научился играть на гармошке, которая стала тоже одной из нежных подруг.

Но самой желанной и близкой подругой всегда была — книга.

Вася читал очень много и все—что только ему попадалось - от Гоголя до жития Иоанна Кронштадскаго и всех святых.

А про разбойников Яшку Смертенского и Стеньку Разина он мог читать по тысячу раз, покупая эти книги на базаре.

Особенно он полюбил Стеньку Разина, да так горячо полюбил, что с Алешей—Петей и всеми мальчишками и где только можно он затевел игры в разбойников, а сам был Стенькой Разиным, раздавая все свои богатства и складывая голову за друзей своих—за народную понизовую вольницу.

Игры в Стеньку Разина продолжались целые годы, как только подходил случай развернуть свою удаль.

Сеновалы, сараи, балагушки, лабазы, деревья, лог с норами—все было к услугам шайки разбойников.

А чулан с шаньгами, со сливками, с пенками, кухня с разными продуктами и—особенно—шкаф в столовой—где хранились конфекты, печенья, сахар, варенье и вина—подвергались много раз удачному нападенью шайки.

Слямзить, стяпорщить, стянуть, стащить—и потом честно разделить—были главными заслугами разбойников.

А уж самое главное—это как нибудь украсть из комода у тети несколько двугривенных на важные дела: надо купить пороху, пистонов (разбивали камнями), корму птицам, садок, западёнку дубовую, удочек, мешок для прикорма, кренделей, яблоков, конфект.

Расходов было густо.

Впрочем крупным приходам много помогали богатые Каменские, давая на гостинцы гостю Васе по трешнице, а то и по пятерке.

Всех щедрее на свете для Васи были дядя Николай и двоюродный брат Александр Петрович Каменские—люди с размахом, добрые, светлые, чуткие.

Главное же главнейшого из жизни шайки разбойников—Васи и Алеши—было забраться в красные лабазы на пристани, ловко подрезать перочинным ножиком какой нибудь мешок с изюмом или орехами или рожками, нагрузить за рубаху и удрать на сеновал, забиться в сено и есть добычу.

Вот где трепетало счастье.

Вася чавкался и думал: откуда эти сладкие мешки—куда их везут—и кто счастливый владеет ими так, что если захочет—съест сам весь мешок.

Ого—а сколько таких мешков и ящиков в огромных пяти лабазах—горы.

Вообще на буксирной пристани жили сплошь чудеса летом.

Всюду лежат якоря, цепи, смолистые канаты, бочки, везде бегают матросы, кричат, арестанты грузят, бабы с мужиками поют на баржах у мостков:

Эй качай наша качай
Знай раскачивай качай—
Наша ходко идет
Подается вперед—
Ходом ходом веселее
Мы покатим поскорее
А вот идет—идет—идет
А вот идет—идет—идет.

И это—а вот идет—идет—идет—тянули пока из трюма баржи на веревках на палубу не вытащат груз.

Эта песня лилась непрестанно.

Или вдруг ночью—сквозь сон Вася слышит, как подходит буксирный пароход с баржами к пристани, как капитан и водоливы перекрикиваются в рупор.

По свистку Вася знал названье любимовского парохода и капитана на нем.

Утром рано проснется и смотрит: перед окном три-четыре длинных баржи и впереди на якоре пароход, белый, важный.

Значит к дяде придет обедать капитан, а матрос принесет живых стерлядей или арбузы и яблоки.

Рыбу опустят в чан, за обедом—арбуз.

Прибытие снизу парохода было ярким праздником Васи и всех.

В два — три дня можно успеть обделать под общий шум всякие дела незаметно: и дядя Гриша и тетя Саша отвлечены гостями, волненьями.

Милые, родные, белые, важные пароходы с баржами и без барж — пассажирские — вы столько много — щедро давали Васе удивительных радостей — праздников, что он до конца дней своих незабудет питать к вам — пароходы, баржи и пристани — светлые чувства благодарности от всей глубины любви, от всей раздольности восторженного сердца.

Зима.

А зимой—когда все кругом и Каму—заносило глубоким снегом—Вася с Алешей, вернувшись из школ, катались на лыжах, коньках, санках. делали катушку, поливали, мерзли, отогревались, снова бегали.

На Рождестве перво—на-перво славили Христа, ходили по родственникам и знакомым и даже совсем незнакомым.

Родственники — второстепенные — давали по 20 коп., знакомые по 10 к., а незнакомые по копейке или по шанежке—лепешке.

Одна старушка дала Васе марковку.

Зато Васины родственники Каменские (Трущовы туда совсем не ходили) давали Васе славленного всегда очень щедро.

Потом бывала ёлка, полно гостей, маскированныя,—конфекты,—хлопушки, возня.

На месленнице увозили на своей лошади всех ребят кататься по проспекту.

Ели оладьи, блины.

Вася узнал про то, что есть около базара балаган, где идут удивительные—забавные представленья: об этом у дяди Вани рассказывал дедушка Волков.

Вася отправился туда.

На досчаном большом балагане с парусиновой крышей была вывеска:

— Цирк Камбарова.

Сам Камбаров — клоун с позументами, с лицом в крупчатке, кричал у кассы:

— Торопитесь покупать билеты — сейчас начинается небывалое зрелище или чудеса и разгадка тайн чорной магии, со всех по гривеннику, а у кого рыжая борода—20 копеек.

Вася забрался на лучшее место.

Шарманка с барабаном, ловкий мальчик акробат в трико—Вася Камбаров, гармонисты, танцовщицы, девочка на трапеции, дрессированная собака, маленькие нарисованные люди с большими поющими головами, Петрушка, сам смешной с бельмом клоун Камбаров—все это небывалое зрелище в ярких блестках и картинках очаровало Васю.

Он стоял около балагана в толпе целые дни, пил сбитень с плюшками, наблюдал и наконец торжественно рыцарски поклялся, что как только вырастет большим — поступит артистом в цирк и узнает все секреты закулисных тайн—куда теперь совершенно никого непускают, а там все — самое главное.

Начинался скучный длиннущий пост.

Зачем то заставляли говеть.

Одно утешенье — много неучиться и скоро весна.

На пасхе совсем чудесно—заутреня, новые костюмы, христосуются, яица крашеные, куличи, сыр, под воротами качели, в бабки можно играть, кругом колокольный звон, надо на колокольню подняться.

И через Каму ходить нельзя—лед синий, у берегов вода – вот тронется и снова пойдут пароходы.

Снова заживет буксирная пристань.

Вася опять будет Стенькой Разиным и отправится на добычу в лабазы.

И теперь будет осторожнее: а то он раз принес домой из лабазов плитку парафинового масла, спрятал и всю ночь неспал — все думал куда ему девать эту штуку.

Снова покажется жизнь — сплошным удивленьем — сказочным царством подарков.

Безпокойными будут ночи, нянька станет пугать домовыми — да лешими, а Вася с Алешей забьются с головами под одеяло и крепко уснут до мотовилихинского свистка.

Кем быть.

Вася рос неустанным затейщиком, неисчерпаемым изобретателем всяческих замыслов, вершителем, любопытство которого расцветало с каждым новым днем.

Это ничего, что ему иногда слишком горько жилось по-сиротски.

Больной, кашляющий, раздражительный дядя и нервная тетя часто просто зря били Васю неразбираясь в справедливости.

Но что—эти чорные минуты обиды и слез значили перед вечностью приливающих дней, когда горячо и ненапрасно верилось в свободное великое будущее.

Вася всегда знал, что он будет исключительным, необыкновенным, высоким орлом над долинами будней.

Одаренный от природы внутренними богатствами, светлой гордостью, обаянием воли, красивой внешностью—он всюду мальчиком обращал на себя острое вниманье.

Вот это обстоятельство и служило всегда причиной общего раздраженья против гениального Васи и в детстве и теперь.

Уж слишком не по плечу всем Вася.

Ведь право—прежде чем было понять его, почувствовать, познать—надо быть самому одаренным хоть немного или просто чутким—культурным.

А что было и есть кругом его—только бездарное мещанство, плюющее в солнцезарное лицо Гения.

И в лучшем случае—добрые люди, равнодушно улыбающиеся всему необычайному.

И маленький Вася знал это, интуитивно чуял, слышал из книг и потому никогда неосуждал, несердился, немстил, прощая своих обидчиков скоро и искренно.

Его великодушию небыло границ.

Он был и остался истинным ребенком, Он был и остался истинным мудрецом.

Никто и неподозревал, что десятилетний Вася серьезно пишет стихи, серьезно читает книги, серьезно мыслить, и в то же время умеет так серьезно и отчаянно шалить, что и в самом деле трудно предположить первое—мудрое.

Он всегда был одержим крайностями.

Светлая, утровеющая голова, взвихренная тысячами стремительных фантазий.

То он—Стенька Разин, жгущий костры в жигулевских горах на вольной дороге—или вдруг—храбрый путешественник Майн—Рида в тропической Мексике, то он—тихий рыболов на Каме, живущий в избушке, или—знаменитый Поэт, чьи стихи в книгах и так опьяняют красотой, что кружится сердце от счастья праздничных слов.

Кем быть—вот вопрос.

И он придумывает:

— Буду еще и Робинзом Крузо, и Жар-Птицей, и Индейцем, и Дон—Кихотом, и Лесным, и Капитаном Корабля, и Бродягой, и—это главное—останусь великим Поэтом навсегда.

Быть всеми, пройти все пути лучшей жизни, все пережить всех понять, полюбить, и стать навеки Поэтом – вот ответ.

Это когда—взрослый, большой.

Так он клятвенно решил, обещал земле, сказал небу, солнцу, птицам, траве.

И весь мир поверил, благословил.

Это он почуял всем существом.

А когда сказал людям вокруг—люди плюнули ему в душу, стали смеяться, издеваться, хихикать, стараться сделать ему больно, острообидно, чтобы несмел быть гениальным—раз все они только рабы, бьющиеся за существованье, только серые, плоские, незаметные.

Он знал это и прощал людям зло.

Он знал и то, что не за сиротскую долю ему приходится много страдать, а за его внутреннее высокое дарованье—никому из окружающих непонятное и ненужное.

И пока он—маленький Вася—он берет лучшее из возможного: жадно увлекается книгами дома, пишет стихи, записки, прячет их в свой угол, светло молчит, а на улице с Алешей играет в Стеньку Разина, делая необходимые набеги,—в Путешественника, плавая весной на Каме на льдинах с шестом,—в Орла, летающего с крыш служб на землю и непременно в ветер,—в Капитана Корабля устраивая из досок большой корабль (в ограде) и внутри полно ребят—гостей, Алеша—повар, Петя—машинист, Вася—на капитанском мостике, Саня, Нина, Толя Волковы, Маня, Соня—пассажиры.

Или Вася играет в Охотника—он покупает на толкучке старинный пистолет, набивает дуло порохом, надевает пистон на капсулю и стреляет в столб гигантских шагов (на горе): после оглушительного выстрела в руках остается одна ручка от пистолета, а глаза опалены порохом.

Но эта неудача пустяки.

Он удит с Алешей щеклею на Камских плотах, тянется за клёвом и обрывается в Каму, рыбак еле спасает его за волосы, и целый день Вася сушится у костра, чтобы явиться домой сухим и веселым.

И тонет на Каме не один раз.

Ведь в жизни столько опасностей—а это только начало, проба.

Часто летом Вася видал как откачивают на берегу утопленников—страшно смотреть.

Надо быть сильным, ловким, гибким.

Он придумывает не игрушечный, а настоящий свой цирк: с Алешей покупают гантели, в сарае устилают землю пильной мукой, устраивают трапецию, тренируются, борются, жонглируют, ходят с кровоподтеками.

На именины Васи (12 апреля) собрались гости—Маня, Нина, Толя Волковы и еще ребята, один из артистов цирка здоровый парнюга технического училища Коля Серебров взял гимнаста—Васю за ноги и метнул в воздухе сальто-мортале, Вася перевернулся лишнее — полраза — и вместо ног угодил в землю головой.

Именинника долго приводили в чувство.

Самая скучная из игр была — зимой ходить в школу: холодно, уши - нос—руки мерзнут, в школе даже в перемену дурить нельзя, а на уроках будто нарочно спрашивают всегда такое, что незнаешь и ставят двойки с минусом, потом ставят в угол или стой за партой, а дома ругают, бьют, не дают обедать, на улицу не отпускают и реветь нельзя.

Ну и школа—чорт бы ее побрал.

Ученики ябедничают, учителя злые—всё в очки видят, нападают, рычат.

Из 25 своих учителей Вася любил только одного из городского—Поликарпа Гордеевича Андреева—учителя русского языка, красиво любовно объяснявшого теорию словесности и творчество и жизнь великих Поэтов.

Вася только по русскому учился с любовью, знал много больше школы, много заучивал стихов Лермонтова, Некрасова, Пушкина.

И всех лучше в школе читал Вася.

Зато геометрию и алгебру всячески проклинал, боялся до ужаса треугольников и иксов.

Весной беглячил: будто уйдет в школу, а сам на льдинах под собором плавает с угланами.

Истинное счастье лета приходило — когда прекращалась дурацкая дрессировка в школе — Вася, Алеша и Петя снимали серую форму, надевали рубашки и обегали весь берег, всю буксирную пристань и таинственно спускались к мосткам и по городкам к самой воде.

Пароходская жизнь гремела.

И все, что делалось кругом надо было все видеть, все слышать, все исчерпать.

И остаться — великим Поэтом.

Главное — сохранить детское сердце.

Так будет ярче мудрость и отчаяннее воля.

— Ну, поезжай дальше.

У дяди Вани.

Домик серенький
На монастырской 50
Там за воротами ребята
Над крышей голуби висят.
У бани
В ограде дядя Ваня
Кормит куриц и гусят

(из детских)

Удивительный на свете дядя Ваня, лесной, птичий, рыбацкий, мягкий, уютный, общий, жизнерадостный.

Для всех дядя Ваня—дядя Ваня.

Дядя Ваня будто Робинзон Крузо: остров—его ограда, козы, птицы, хозяйство и все его любят.

Всю свою жизнь дядя Ваня отдал, ребятам, голубям, своей ограде и Пермской железной дороге (грубо неблагодарной), где он прослужил слишком тридцать лет кротко, честно, аккуратно за—грошовое жалованье.

Славный наш—родной друг—дядя Ваня.

Пускай иных знаменитых Духом Искусства воспитали Пушкин или Толстой, Карл Маркс или Кропоткин, Эдиссон или Менделеев, Рафаэль или Ницше—меня же и—главное—Поэта воспитали дядя Ваня, Стенька Разин и буксирная пристань Любимова на Каме.

Дядя Ваня—страстный в Перми (и теперь) голубятник—не менее страстный охотник и рыболов.

Гоняет ли дядя Ваня голубей или сидит покуривает—в голубятне (часто с мальчиками—голубятниками и серьезно с ними толкует) или охотится на рябчиков (ныне редко) или рыбачит на Каме—он истинный художник, обвеянный поэтической любовью к природе и к своему мастерству.

И дни настанут упованья.
У голубинных душ—людей—
Восторжествует дядя Ваня
Гоняя триста голубей.

Быть может только у дяди Вани могло хватить столько чуткости и доброты, столько вниманья, чтобы иногда брать с собой на серьезную рыбалку на ночевую за Каму мальчишек Васю и Алешу.

А дома Васю и Алешу с пристани могли отпустить на ночевку рыбачить именно только с дядей Ваней—в качестве охраняющого.

Заботливый дядя Ваня все остальное сделает сам—перегребет на веслах через Каму, забьет заездок или поставит елку, опустит прикорм, закострит костер, поставит кипятить чайник, устроит закуску.

Когда уже начнется чаепитье дядя Ваня без умолку рассказывает ребятам вероятные и невероятные приключенья и хохочет раздольно, играя остроумьем, яркой образностью, пылкой жизнерадостью.

А потом уложит спать ребят, приляжет сам, а чуть засветает он засуетится—заговорит шопотом, весь преобразится, заготовит удочки, на-скоро уладит чай и тихохонько на лодке с ребятами станет на заездок.

И начинается уженье.

Шопотом, движеньями, мимикой, глазами дядя Ваня разсказывает ребятам чарующую поэму рыбной ловли.

Солнцевстальная озаренность, аметистовые туманы над Камой, струистое пенье птиц в кустах, булькающие всплавы рыбы, наши наплывки—вдруг клюнет подъязок или елец—водяные звуки, где то проплывающие плоты и далеко шумное хлопанье пароходских колес, и вот среди этой сказки—дядя Ваня с Васей—Алешей—оперяющимися птенцами из гнезда буксирной пристани.

Вася трепетно думал:

— Какая удивительная жизнь впереди—сколько волшебных возможностей, сколько сокровенных глубинных тайн вокруг, сколько рыбы в Каме и сколько одних только Солнц—и откуда они берутся—если каждое утро новое Солнце—новое Тепло—новый День.

— А после рыбалки у дяди Вани в ограде опять голуби, гуси, куры, ребята, черемуха и старые сундуки.

— У слудской церкви—идти мимо домой—за чугунной оградой в саду—рябина—еще непоспела.

— Маня, Нина - дяди Ванины—гимназистки барышни и задаются, а Толя бегает за воротами, а Зина, Катя совсем утята.

— Скоро привезут с низовья арбузы на пароходах—большущие—черноярские—вот бы слимонить один в собственное распоряженье.

Так мечталось на рыбалке рыбаку Васе.

И после действительно появились голуби.

Моя судьба и с дядей Ваней
Желанно связана добром:
С Алешей—Петей мы над баней
Держали голубей втроем.
А жили на буксирной пристани
На чалках весело качалиться
Мы были близки к Каме—к истине
Но Соня выросла—и вот печалится.

(Поэмия—Моя карьера)

А как стала созревать рябина у слудской церкви—дядя Ваня впервые взял с собой в лес на охоту Васю.

Ну уж там—в лесу—с шомпольными ружьями у дяди Вани и у Васи—за каждым деревом и каждой колодиной—нестерпимое множество всяческих чудес и загадок.

Как только вынесло маленькое сердце Васи столько великих восторгов—столько опьяняющих приключений—столько охотничьих очарований и сложностей до слез.

Дядя Ваня казался в лесу—богом—особенно когда вдруг застреливал рябчика—о это обстоятельство представлялось непостижимым подвигом—почти землетрясеньем.

Отдых же дяди Вани у костра (прикуривал он от сучочка из огня, прищуриваясь) был для Васи счастливым мгновеньем когда дядя Ваня снова рассказывал о лесной жизни рябчиков и так красочно тонко, что у Васи пересыхало горло и останавливалось дыхание.

Дядя Ваня говорил:

— Вот иду я раз по лесной прогалине и вижу рябчиха разгуливает с рябчатами—а те еще с воробья малые—заметила рябчиха меня и заклоктала на своем языке—вижу рябчата рассыпались и каж-

дый перевернулся брюшком вверх, лапками притянул на себя по листочку и никого невидать стало, а рябчиха скрылась в валежнике—ну мась их еры—ловко.

Вася слушал и изумлялся изобретательности всюду—где только дело касалось живых существ, Вася понимал ясно: какая значит необходима изворотливость, умность, быстрота, смелость, находчивость и гибкость, чтобы жить дальше, чтобы научиться быть ярким, сильным, сочным и научить других торжествовать разумом.

Авторитет дяди Вани увеличивался еще тем обстоятельством, что его отец — милый дедушка Волков (ныне его нет в живых) был истинным мастером—рыбаком и последние годы вплоть рыбачил на Чорном лесном езере—где устроил себе сказочную избушку и уж у дедушки Волкова были такие мудреные удочки с колокольчиками (клюнет—позвонит рыбаку) и стаканчиками наплывы из осокори—самодельные, что дедушка Волков казался недоступным облаком — такой он был настоящий подвижник.

И рыбы дедушка Волков приносил домой большущие—ох и щуки были—зубастые, пестрые, вкусные.

Катерина-третья жена дяди Вани (вторая была родной сестрой матери Васи) готовила пышные пироги и варила душистую уху из дедушкиной добычи.

А какие канарейки выводились у дяди Вани—поют будто рассказывают, что живут в домике дяди Ванином и видят много звонких чудес, слышат много в ограде голосов, знают много о том, что будет впереди.

Ну что в сравненьи с этой святой жизнью, воспитанье на сочиненьях Пушкина или Толстого.

Само собой—их читать школьникам может быть надо, но воспитанье дяди Вани—идеальное воспитанье, потому что оно от творческой Интуиции, от детства Мира, от мудрости отрешенья, от истинной поэзии, от внутренняго богатства Личности, от куль-

турнаго покоя: хочу быть только Человеком во славу Единого Равенства и Безвластья.

Дома с дядей Ваней равны и голуби, и ребята, и небеса, и черемуха.

Анархизм дяди Вани рожден Молодостью от Вечности, от Природы.

Дядя Ваня—друг всех пришедших к нему в ограду или в дом.

Дядя Ваня может быть другом великих и малых, сильных и слабых, талантливых и бездарных.

И он всех поймет, всех впитает, всем удивится, всем будет благодарен и все найдут свою душу—свое сердце в нем.

Мудрец, Анархист, Поэт— футурист, художник, Путешественник, рабочий — все—если когда нибудь зайдут к нему—все станут его друзьями.

Дядя Ваня для всех—дядя Ваня.

И весь его старенький домик—светлая вечерняя песня у костра где нибудь на Каме, песня о тихом рыцаре, котораго слушались бушующие волны Океана и стихали во имя тишины рыцаря.

Если учат Солнце, Земля, Вода, Звезды, Люди, то дядя Ваня научил Василья Каменскаго быть Поэтом мудрого покоя, ласковым ребенком Времени, желанным гостем его домика.

У дяди Вани можно отдохнуть.

Я и корабли.

За Камой в ночной рыбалке на заездке Вася с Алешей ловили подъязков, ершей.

И всю ночь на пристани выла собака.

Вася чуял, что не к добру это.

Вернулись домой, а больной дядя Гриша умер.

Народ, все молча хлопочут, священики, ладан, слезы.

И разом изменилась как то жизнь.

С одной стороны печаль—жалко дядю Гришу—а с другой—радостное освобожденье.

Дорога самостоятельности.

Почти юношеский возраст, иные затем, иные чувства.

Постоянная озабоченность тети Сащи, оставленной с ребятами без средств, ее внутренняя перемена характера—к вдруг лучшему—действуют на Васю глубоко, раскидывая Его мысли возбужденно, затейно,

Он весь полон решений что то резко изменить в жизни—дальше.

Кое-как он доучивается до весны, отдав зимние вечера запойному чтению книг, а весной поступает в Гл. Бухгалтерию Пермской железной дороги конторщиком.

И первое время не говорит об этом дома.

С пристани из родного дома — где все выросли — тете Саше с семьей хамские хозяева Любимовы предложили выехать: за это дядя Гриша им прослужил честно 30 лет.

Больно нестерпимо было расставаться с домом — с детством — с берегом, усеянным лодками и плотами — с пристанью — с угором — с чаном и елками.

Переехали на Монастырскую улицу — около дяди Вани: большое утешенье.

Сестра Маруся выходит замуж за Н. Ф. Кибардина: свадебный шум, гости, вино, шаферство, велосипеды, барыщни, семинаристы, крахмальные воротнички.

Так началась городская жизнь.

Тротуары, служба, много людей, домов.

Васю в управленьи стали некоторые звать — Василий Васильевич.

Кончено с солнцерадостным детством.

Я — стал Я.

Я стал личностью, почти человеком, к которому серьезно обращаются люди с бородами, мне платят жалованье 20-го, как всем, я вдруг переродился, изменился.

Я стал конторщиком Каменским.

Среди взрослых сослуживцев я старался чувствовать себя почти взрослым.

Мой начальник — П. И. Высотин — гуманная личность — отнесся ко мне светло, ласково.

Мои сослуживцы — Прокопович, Сережа Чебыкин, Ваня Гоголев, Домбровский, Тяпкин — стали приятелями по службе.

Потом я в управлении подружился с двумя сестрами О. И. и В. И. Кулыгинскими (В. И. жена П. И. Высотина) — у которых часто и благодарно гостил, пользуясь нужным вниманьем.

Интеллигентная семья Высотиных была моим родным первым духовным уютом — теплом — здесь любили писателей, много читали.

Я начал серьезно охотиться, уезжая в глубь Урала.

И раз даже забрался с ружьем в свою родину— в Теплую гору и было так странно слышать в деревнях и на золотых приисках рассказы о моем отце.

Охота по лесам меня опьяняла, колдовала, волновала.

Глухари и рябчики заполнили мозг.

Я задыхался от увлеченья и конечно часто промазывал.

Хотелось навеки остаться охотником в лесу—о службе и городе недумалось.

Через год я перешел—с двойным повышеньем— в другой отдел—в службу Движенья (где служил дядя Ваня) к Н. С. Анферову.

Мне везло: Н. С. Анферов и его жена Ольга Александровна чутко, близко приняли меня настолько, что я—ради абсолютной самостоятельности— переехал к ним в отдельную комнату нахлебником, часто навещая сестру Марусю, дядю Ваню, тетю Сашу, Высотиных.

А перед этим я—или истиннее—Поэт во мне— совершил целое чудо: я взял отпуск и никуда до сих пор невыезжавший из Перми—уехал в Крым— в Севастополь, к морю.

Мне так невыносимо хотелось увидеть море и корабли.

Дальше.

Почуял.

Все виденное мною в Севастополе навеки опьянило, очаровало, ошеломило мою душу, буйным ветром разнесло мои мысли, а сердце наполнило ароматным, выдержанным крымским вином.

Глаза Поэта навеки пронзились безбрежно-солнечным светом утренняго моря.

И почуял Он творческую волю Свою, музыкальную, стройность природной напевности, врожденную способность сочетать ощущенья Мира в образные слова.

Трепетный очаровательнный Юноша целые дни стоял перед сияющим морем и неотрывно жадно смотрел в даль—куда плавно—безшумно, таинственно уходили важные громадные корабли.

И—главное—невидать было их берегов.

Впервые Он решился записать где нибудь на клочке Свое яркое удивленье.

Зачем—Он недумал—для себя на счастье,

Пусть будет песней души.

А потом—пошел Он в порт—поближе к кораблям—ух, и здоровенными же близко-то показались эти корабли.

Один корабль у пристани Он даже потрогал.

Дебют.

Вернулся в Пермь—взволнованный, задыхался от неуменья рассказать, как видел море.

Снова началась нелепая служба.

Мои славные товарищи Саша Реутов, Коля Мусатов острили надо мной, замечая мою нездешность и полное нераденье к делу.

Начал печатать статейки в пермском крае.

На лето переехал я на дачу – в деревню Васильевку – здесь близко познакомился с известными тогда и теперь в Перми светлыми политическими деятелями: П. А. Матвеевым, Засулич, Каменевым, Бусыгиным—все они служили тоже в службе движенья

П. А. Матвеев—популярный демократ—не раз пострадавший—оказал мне много духовной помощи в смысле политического сознанья свободного гражданина.

В Васильевке я с студентом Ионой начали издавать рукописную газету—где Поэт поместил Свои гражданские рассказы.

Но больше я увлекся основавшимся театром в Васильевке: стал играть главные роли простаков.

А осенью в Перми отправился к режиссеру в городской театр и безплатно предложил свои услуги последняго актера.

Для перваго дебюта меня одели толсто кучером, намазали, парикмахер клейко приклеил бороду и меня отослали кверху на колосники в мастерскую декоратора—пока непозовут на выход.

Я терпеливо ждал часа два, вспотел, устал, вдруг стали тушить электричество—я бросился в темноте книзу, путаясь в кучерском одеяньи—оказалось, что спектакль кончился, а про меня забыли.

Собравшись уходить домой парикмахер с остервененьем сорвал с меня бороду так, что неделю из моих глаз сыпались искры, как из паровозной трубы.

Другие выходы были удачнее и сезон кончился тем, что я решил серьезно поступить на сцену—от службы отказался.

Под покровительством актера Н. Помпа-Лирскаго (из зимней труппы Никулина) весной я переехал в Москву—в театральное бюро—предварительно вручив Помпа-Лирскому все сбереженья пенсионной кассы в 350 рублей—взаймы (с явной без отдачей).

Дальше.

В Актерах.

В Москве я вступил членом театрального бюро под псевдонимом Васильковский.

Помпа Лирский устроил меня на зимний сезон к Леонову в Тамбов на вторые роли, а на лето предложил мне служить у него в товариществе на марках.

Я ясно непонимал, что это за марки такие, однако рыцарски согласился,

Мы—артисты—человек двадцать выехали во главе с Помпа-Лирским в Новызыбков, Черниговской губернии.

Имя актера Васильковского появилось в афишах—я возгордился.

Заказал визитные карточки, ходил в убийственном рыжем костюме или в сюртуке, брови, глаза подводил, носил много брелоков, колец, гулял на публике.

Отчаянно нравился евреечкам—гимназисткам—они кричали мило:

— Ай шейне, ай мишигинэ копф.

Играл хорошие роли и был вроде управляющаго—составлял афиши, программы.

Брал разрешенья

Сначало дела шли гладко.

Летний театр в саду слегка наполнялся.

Актеры: Цветков, Травин, Юматов, Гурко, Качурин, Помпа-Лирский, я—Васильковский,—пользовались успехом.

А как пошли дожди—все провалилось.

Никаких марок нестало—делить нечего и есть—пить нечего.

Начались скандалы.

Целый день—солнце, а как вечер—перед спектаклем—проливной дождь.

В один из таких дождливых вечеров перед немного собравшейся публикой мы—почти все артисты — уже загримированные — залезли в оркестр, схватили кто какие попало инструменты и под дирижерством Помпа-Лирскаго стали играть марш.

Во истину это было торжество какофонии—с горя да досады.

Я бил сумасшедше в барабан.

Публика спрашивала:

— Ну и что это значит.

Потом труппа разделилась на две части и одна—верная Помпе-Лирскому—к которому принадлежал я—решила ехать в Клинцы и Стародуб.

Перед отъездом мы—обе части учинили драку из-за театрального имущества и стали лупить друг друга корневищами с землей (выдергивали из огородов) от подсолнечников по башкам.

Помпа—Лирский вскочил на извозчика и размахивая палкой обратился к публике вокруг:

— Православные христиане.

Речь успеха неимела.

Помпа—Лирский забыл, что нас окружало еврейское населенье.

Всех посадили в участок в одну кутузку—на нары: тут мы примирились.

В Клинцах и Стародубе дела поправились.

На Зимний сезон я уехал служить в антрепризу Леонова в Тамбов.

Там дело было солидное, серьезное.

Из талантливых помню: П. И. Чардынина, Аксагарского, Соколова, Новского, Славянову, Аненскую, Мравина, Неметти.

П. И. Чардынина вспоминаю особенно благодарно: он писал въ газетах и производил культурное впечатленье.

В Тамбове с другом Новским увлеклись водочкой и впервые по земному женщинами.

Но то и другое скоро бросили: стало противно.

Я всегда предпочитал иное опьяненье, иные соблазны.

Восходящій во мне Поэт в пламенных фантазиях заклинал меня оставить актерство—эту бутафорскую жизнь, уехать куда нибудь далеко в горы, к морю, к весенним возможностям, к песням, к чудесам во славу расцветной молодости.

Хотелось жить легендой.

Затеять рыцарское.

Совершить что нибудь удивительное, большое, вольнотворческое—дальше.

Ведь вся жизнь была в моей воле—в моих руках—в моих силах—надо только было неошибиться, непропасть, незгинуть зря.

Приближалась весна—кончался сезон.

Уехал в Москву.

Наташа.

К Апрелю (1902) все мы—артисты труппы Дарьяловой, законтрактованные в Театральном Бюро, из Москвы съехались в Севастополь.

Из товарищей помню талантливыхъ: Тамарова Мишу [ныне часто выступает на экране], Ватина, Яновскаго [внука Гоголя], яркую М. Юрьеву.

Я—под своим псевдонимом—Васильковский.

Дело провалилось.

Приехал знаменитый М. М. Петипа на гастроли—неспас, запировал, уехалъ: на что мы ему.

Труппа стала голодать.

Среди малочисленной публики в ложе гимназисток я начал замечать одну—неземную, с глазами будто друга, и узналъ, что ее зовуть Наташей Гольденберг.

К маю труппа разъехалась.

Я один остался, полюбивший в первый раз рыцарски беззаветно, огненно, священно.

Я даже не смел подумать как нибудь подойти познакомиться: этого хотел Поэт.

Он в пламенно-юношеских мечтах вознес Наташу на нездешнюю высоту любви и стал писать повесть—в форме дневника—под заглавьем Наташа Севастопольская.

Глаза мая на море цвели бирюзовно до изумрудности.

Он проводил дни на приморском бульваре у самой воды на камнях—на солнце.

Лениво кричали качаясь чайки.
Корабли проходили виденьями важно-
безшумно.
Где-то в порту громыхало железо.
Около играли дети, бросали в воду.
Поэт жил стихами—повестью о любви.

Вечером на бульваре—симфонический, Наташа, возможность познакомиться.

А я так жить не мог: мне нужны стали деньги, заработок.

Я нашел два великолепных урока—у директора банка Ф. А. Таци [занимался с гимназистом Костей] и у купца Д. Сотскова [с мальчиком Алешей и институткой Женей—по русскому—теория словесности]—эти две семьи отнеслись ко мне дружески светло и тепло.

После актерской голодовки я ожил, поправился, повеселел, разошелся, прифрантился.

Нашел еще урок—и зажил во всю колокольню.

И так широко, что Поэт согласился написать Наташе единственное большое письмо, полное земных желаний познакомиться ближе.

Я верил искренно в успех и ждал дружеского ответа: ведь она при встрѣчах улыбалась радостно, призывно, обещающе.

Однако ничего Наташа неотвѣтила: какое ей дело до любви Его и моей.

С актером Васильковским в рыжем пальто вероятно шокингом считалось знакомиться благородным девушкам.

Стыдно стало за большое письмо к Наташе—Поэту и мне.

И нестерпимо больно встречать ее гордую.

Но Поэт неосуждал—Он только отчаянно загрустил, да такъ загрустил, что целые ночи напролет просиживалъ в ночных турецких кофейнях за чорным кофе и плакал горячо, глубинно, одиноко.

А на рассвете ходил мимо дома ее и мученски страдая спрашивал:

— За что.

Он перестал писать повесть о любви.

Однако встречи с Наташей остро волновали—Ему еще верилось в ответность—Он ждал, горел, любил.

Напрасно.

Капитан торгового корабля—сыну которого я давал уроки—предложил мне на рейс прокатиться в Турцию, по берегам в Трапезунд и Константинополь.

Поэт встрепенулся—я бросилъ уроки.

Корабль вместе с товарами увез печаль Его к босфорским берегам.

Трапезунд встретил путешественника грозным штормом, отчаянной качкой, воем сирен, зато Константинопольский пролив успокоил небесным покоем, сказочной красотой приветного слиянья двух морей.

Константинополь с семью стами мечетей и величественной гаванью Золотого Рога, с карабельными верфями и чудом византийского искусства—Ая София с ярчайшей пестротой восточных народов, мечетью Солимана, Перой, Далма-Бахче, Кадикной, Галатой, огромным ковровошелковым базаром, кофейнами—произвел на Поэта впечатленье волшебства.

Опьяненный Поэт закружился в улицах, втолпился в базар, перекочевывал из кофейни в кофейню наблюдая народ.

Он забылся в увлеченьи.

Нехотелось оставлять Константинополь, а было надо: уходил корабль в Россію и приближался срок актерского контракта с Кременчугом.

Возвращенье в Севастополь показалось скучным: слишком много сердечной обиды оставалось тут.

Дальше.

Я уехал в Кременчуг.

И там на пескахъ осенняго Днепра ждалъ начала сезона у Филипповскаго.

Смена товарищей: Гурко, Б. Светловъ, Ф. Я. Яковлева, Родюков, Скуратов, Бельский,—развлекала меня от крымской грусти.

Я сильно скучал по Наташе.

Поэт видел ее во снах, во встрѣчах с другими.

Моя большая работа над актерством скоро меня ярко выдвинула—мне очень повезло и молодежь—особенно гимназистки — горячо полюбили меня и бурно принимали.

По окончаньи сезона весной я укатил в Николаев, в гости к Илюше Грицаеву, у отца которого была контора похоронных процессий.

В интересах удобства проказ (шлялись ночами по кабачкам) мы изъявили охоту спать в складе гробов.

Илюша выбрал мне (склад завален — кроватей не было) дорогой в 125 рублей дубовый гроб и мне пришлось спать на мелких стружках в гробу на коленкоровой подушке, в отдельной комнате.

Себе Илюша выбрал металлический гроб в 90 р.

Первыя ночи спать с непривычки в гробу среди кучи гробов было жутко, а потом привык — что делать—зато пировали.

Один раз меня послали обмерять старушку-покойницу.

В Николаев на Пасху приехала в театр труппа ныне знаменитого Вс. Э. Мейерхольда.

Я устроился служить у него.

И Мейерхольд первый за все время моей актерской карьеры поразил меня своей интеллигентностью, культурой, вкусом, духовным обаяньем, темпераментом.

По скромности и опыту я даже непредполагал, что режиссером может быть такой порядочный и культурный человек.

Один раз Мейерхольд сорганизовал вечер поэзии шумевших тогда декадентов—В. Брюсова, Сологуба, Бальмонта, В. Иванова, Блока, Андрея Белого, Кузьмина и назвал вечер—Литургия Красоты (в сукнах, со свечами, аналоем).

После этого вечера стихов Поэт мне особенно громко крикнул:

Дальше от актерства.

Я был побежден и совершенно покинул театр пошлой драмы жалкого провинциализма, театр, который я наивно идеализировал и который был только союзом любителей-неудачников драматическаго искусства,—обществом забавной борьбы за существованье.

И только забавной.

Отдельные таланты гибли, таяли в удушливых ядах всеактерской бездарщины.

Я уехал в Пермь обрадовать родных, что бросил к чертям сцену.

Дальше.

1905й.

Заводский уральский городъ чугуна, медной руды и золота - Нижний Тагил приютил меня таксировком в товарную контору станции на 30 руб. в месяц.

Я служил с 6 час. утра—до 6-ти вечера.

В конторе среди сослуживцев было трое сильно чахоточных, постоянно кашляющих.

Один говорил шопотом.

Забитость, рабское молчанье, тяжкий труд, нищенская жизнь, сыск начальника станции Кузнецова, кроткие, безропотные товарищи—сделали меня борцом за светлую долю.

Тайно я вступил в партию социалистов-революционеров среди рабочих завода и железнодорожных мастерских.

Чтобы увеличить влиянье и заработок я начал сотрудничать в екатеринбургских газетах—Уральская жизнь и Урал.

Стихи и нѣкоторые статьи подписывал—Василий Каменский.

Поэт был настроен граждански.

Сотрудничество в газетах—на службе и в партии принесло мне популярность.

Я начал выступать на литературных вечерах завода—в клубе.

С учащимися, чаще с рабочими, иногда с сослуживцами организовывал лесные прогулки, маевки, рыбалки и там—на свободе—пели революционные песни, говорили о необходимости борьбы за идеи человечества.

Я пробовал говорить речи, учился держать себя убежденно, твердо.

Мне очень всегда хотелось жить оратором.

Нехватало эрудиции, размаха культуры.

Я волновался, стеснялся, стыдился.

А товарищи поддерживали страстно.

Горы прочитанных книг помогали мало.

Небыло образованья, учености, все кругом брал интуицией, стихийностью, чутьем и многие считали меня необыкновенным, удивительным, оригинальным.

И все любили, баловали меня исключительным вниманием за искренность,доброту, товарищеское сердце, вольность.

Иные же—с кем толковал о революции (в лесу)—относились с великим внутренним уваженьем, преданностью.

Весной (1905) чуть непропал в земской больнице от дефтерита острой формы.

Осенью вспыхнула первая российская революция.

Я весь-всей головой отдался освободительному движенью.

После 17 октября я начал открыто энергично действовать.

Митинги, собранья, резолюции.

Захват станции, поездов, телеграфа.

Меня избирают депутатом в Пермь на съезд всех депутатов железной дороги.

Вернувшагося меня избирают в исполнительный забастовочный комитет (огромный район станций и мастерских) Председателем Депутатов.

Мои политические речи действуют гипнотически, энтузиазно, огненно.

Товарищи меня качают, идут в бой, клянутся умереть за свободу, поют песни.

Я проповедую полную автономию Нижняго Тагила на время революции, я сливаю всех с заводскими рабочими в единую семью, целые дни и ночи ораторствую на заводе.

И вдруг—черная пасть контр-революции—Петербург спасовал.

Царский террор в разгаре.

Разстреливают, бьют, арестуют.

Полиция взялась зверски.

Меня ночью хватают врасплох и бросают в тюрьму.

Через два дня народ штурмом берет мое освобожденье и товарищей.

Несут по улицам на руках с песнями.

Еще некоторое время скрываюсь в квартире машиниста.

Потом находят, хватают и под усиленным конвоем увозят в глухую, но огромную Николаевскую тюрьму Верхотурскаго уезда.

Дорогой я пытаюсь уговорить конвойных и жандармов дать мне возможность сбежать—напрасно.

Ну что-ж.

Дальше.

В одиночке.

Тюрьма.

Январь 1906.

Реакция—чорный террор—царизм.

Николаевская тюрьма (Верхотурскаго у. около Нижней-Туры) знаменита уголовными и политическими знаменитостями.

Там побывали многие из теперь здравствующих во славу Свободы.

Меня замуровали в одиночную камеру № 16—все одиночки в подвале, глухие, узкие, с маленькими высоко оконцами, с привинченными к стене койками, в углах параши.

Начальники—зверье-палачи.

Надзиратели—собаки цепные.

Истинная кровопийственная николаевщина.

Арестантов бьют по лицу палками, шашками плашмя, карцеры заполнены, в канцелярии тюрьмы большой царский портрет.

И вот в такой обстановке потянулись дни вечности.

Кормят отвратительно, гулять по дворику отпускают 6 минут в день.

Мысли в больной голове заживопогребеннаго, забытаго.

А еще так недавно верилось в подобное шествие революции.

И свежи были в снах светлые голоса товарищей рабочих, говорящих свято-призывно.

Пробужденье под звонок в 5 ч. утра угнетало,

Еще ведь 3 часа горели лампы до света.

Шли недели, а потом и месяцы.

Смутные известия с воли рисовали картину чорного пира палачей среди висилиц.

Реакция торжествовала.

Подходила весна—март.

У меня выросла большая рыжая борода.

Иногда я делал гимнастику.

Появились вновь арестованные и с ними книги: Маркс, Каутский, Луначарский, Чернов, Пешехонов Герцен, Крапоткин.

Все эти книги мне передавались хитростями на улице в снегу и даже газеты.

Я зачитывался.

Стал усердно изучать французский и делал переводы: матерьял был с собой,

В апреле на пасхе меня посетили—сестра Маруся и тетя Саша—свиданье длилось 15 минут.

Потом прилетели птицы—принесли тепло, песни.

Поэт вдруг всколыхнулся, посветлел, ожил, расправился.

Будто Он почуял Волю: начал писать стихи.

Привезли в тюрьму еще кого—
Снег от солнца растает—
Развейся судьба алошелково
Все равно Весна расцветает.
Давайте в небо взглянем
Довольно святой кротости
Эй рабочие—крестьяне
Бунтуйте во имя Молодости.

Мне тоже хотелось верить в освобожденье, но причин небыло.

Однако прошел и Апрель.

Поэт неунывал—писал стихи.

Я же стал нервничать: май слишком был май и нехотелось сидеть.

В средних числах вдруг по всей тюрьме среди политических объявили голодовку товарищескую.

Начали голодать—день, два, три.

Это был протест против избиенья в одиночке крестьянина—депутата администрацией.

Голодать было трудно первый день и второй а потом ничего.

Больные лекарства выбросили.

Наехали власти из Перми.

И тогда многих освободили и в том числе меня, но с обязательством постояннаго надзора полиции и невыезда из Нижняго-Тагила: меня освидетельствовали и признали здоровье скверным — поэтому только уволили.

Я дал массу всяких подписок о невыезде (в тюрьме), а как только доехал под надзором до Н-Тагила—то ночью же ловко скрылся в товарный поезд до Перми.

Там на пароход и укатил в Крым—в родной Севастополь—дальше.

Через неделю тюрьма казалась идиотским сном, кошмарной черной болезнью.

Будто я сорвался с висилицы.

Поэт сиял и прыгал на берегу моря.

Пестрая судьба.

Снова майское море, ленивые под солнцем чайки, корабли, дельфины, высокій воздух, ялики.

Снова я на берегу приморского бульвара, на камнях.

Набираюсь приливного света — здоровья, а здоровье сильно убавилось.

Внушаю себе декоративные радости, преувеличиваю красоту.

Прохожу мимо пустого дома Наташи—их нет—давно уехали совсем.

И все стало не то—чужое, одинокое.

Схожусь с флотскими революціонерами.

Дружу с лейтенантом А. Кусковым, другом лейтенанта Шмидта.

А. Кусков—уже исключенный от службы—накануне ссылки в Сибирь.

Мечтаю о поездке в Константинополь еще раз и Кусков устраивает у знакомого капитана торгового корабля.

Снова Константинополь.

Корабль стоит 4 дня в гавани и я успеваю по по прежнему восторгаться византийским очарованьем, фескоголовой, яркоцветной толпой, встречаю на базаре семейство диких, одежды которых растенья, а у девочки на груди пустой кокосовый орех и там живет змея.

Из кофейни в кофейню перебегаю: всюду масса интересного.

Покупаю кальян старинный эмалево-стеклянный с кожаной кишкой—на память.

Капитану нравится, что я умею писать стихи и хорошо читаю.

Он устраивает мне торговую поездку в Персию—в Тавриз—Тегеран за шолком.

Еду туда—в царство ковров.

И вижу дивные реки Джагату и Аджи-чай, озеро Урмию, караваны верблюдов.

Встречаюсь с Персидскими революционерами меджелиса.

Покупаю в Тегеране на базаре несколько старинных вещеи на память.

Возвращаюсь Каспийским морем, Волгой до Нижняго Новгорода—дальше.

Оттуда в Петербург.

Месяц готовлюсь к экзамену на аттестат зрелости, сдаю в василеостровской гимназии, поступаю на высшие сельско-хозяйственные курсы и одновременно слушаю лекции в университете, на естественном.

Курсы основали профессора университета (Адамов, Каракаш) и здесь работали пожалуй интенсивнее.

Студенты курсов выбрали меня от эсэров старшиной.

А в девятой аудитории университета по вечерам партийные дела.

Началась студенческая жизнь.

Мои богатые двоюродные братья Александр Петрович и Петр Петрович Каменские и—после—Марья Викторовна Бабинцева (Из Перми, сестра Августы—впоследствии жены)—слегка помогали.

На курсах дружу с товарищами Колей Косач и его сестрой Марусей.

Потом и вся семья Косач—еще Петя, Вера и врач—генерал—все становятся друзьями: здесь я провожу лучшее время, живу светло, культурно, радостно.

Маруся кончала филологический, чутко была подготовлена к новой литературе и несомненно влияла на мое самолюбие печатающего Поэта в истинную сторону.

Я полюбил Марусю.

Мы стали кристальными друзьями.

В неразлучности духовной и земной дружбы, мы обрели право называться сильными детьми своей вольной Современности, мы без берегов радовались приливающим дням во имя своего гордого сознанья культурности.

Грядущее обещало нам победное торжество.

Нас закалял в борьбе царящий тогда чорный террор — мы много работали, учились.

На все лето я уехал в Московский уезд, в экономию Карамышево вместе со всеми студентами на практические занятья по агрономии.

Там мы создали студенческую коммуну, много занимались: слушали лекции, работали с микроскопом по анатомии растений, группами ходили с профессорами по лугам и лесам, собирая насекомых, червей, паразитов, изучая на месте флору и фауну.

С профессором лесного института Сукачевым мы ходили в дальние экскурсии на озера для общого исследованья.

Сами вели огромное молочное хозяйство экономии, доили, наблюдали, практиковались.

В конце лета зачета ради желающим были даны разные участки для самостоятельного исследования флоры и фауны — по составу которых должно было определить прошлое, настоящее и будущее данного куска земли — и представить диссертацию.

Мне дали большой лесной холм, заросший по краям смешанными деревьями, а — в средине высокими соснами.

Осенью я с успехом сдал свою диссертацию — знаменитый профессор Сукачев, искренно меня поблагодарил за работу.

Я определил, что в историческом прошлом жизни земли — в четвертичном периоде (пост — плиоцен) образовал дюну ветронаносным песком.

Было разобрано поступательное движенье этой дюны до настоящаго дня.

Под соснами оказался здоровый еловый подрост, который указывал мне что через 15—20 лет вся сосновая роща исчезнет и ее заменит еловый лес до новой смены — лиственной.

Жизнь леса я изучал с такой любовью что построил себе землянку в роще и жил, иногда ночуя на кронах сосен, где я устроил себе колыбель, вспоминая жизнь предков, живших на деревьях.

Зимой я учился дальше.

Начал заниматься живописью.

По прежнему дружил с семьей Косач ставшей родной, своей, дружеской.

В январе отношенья с Марусей как то вдруг неожиданно для меня изменились — и до сих пор я не знаю причины разрыва — мы странно расстались.

Я без границ горевал.

Мне невезло в идеальной любви, а Поэт был настроен идеально.

Я чувствовал какое то несоответствие между мной — человеком реальности — и Им, ищущим нездешняго блаженства.

В чем то таилась глубокая ошибка, нелепость.

Но сильный и свободный орел — Я не хотел навязываться на исправленье отношений принципиально — тем более, что нечувствовал за собой вины никакой.

Я оставил любимую гордо.

И всю свою печаль неизбывную, всю нестерпимую боль разлуки, все силы любви я отдал Поэту во имя Искусства.

До самозабвенья, до фанатизма, до экстаза грустинный Поэт, отдался Своей поэзии — скорбной, но гордой, как Он.

Так одиноко кричит лебедь, если вдруг потеряет подругу свою снежнокрылую.

Загрустили луга
Озимые поля
Осеннее небо, земля—
Листины
Травины
Цветины
Ветвины
Чистейшие слезы—
Святые росины—
Всем жалко лебедя.

(Девушка босиком)

Поэт целые дни сидел в своей комнате (на петербургской стороне) и писал стихи, поэмии.

Только милая хозяйка квартиры Ольга Ивановна да ее дочь Лида иногда развлекали Поэта музыкой за вечерним чаем.

Весной я прочитал (под влияньем товарищей) на курсах первую лекцию Проблемы Пола и Отто Вейнингер.

Весной же из газет я узнал об организации известным Шебуевым альманаха—Весна.

Я показал свои вещи—Шебуев сразу встрѣтил меня чутко, широко, культурно.

Он мне предложил секретарствовать — помочь редактировать обильный матерьял стихов и прозы.

Альманах Весна вышел красивым изданьем альбомного формата с рисунками талантливого Ив. Грабовского, но содержимое—слабо, бледно, неуверенно.

На лето (с расшатанным здоровьем) я уѣхал к спасительным берегам Чорного моря.

Поселился жить в Балаклаве, а потом переехал в Георгиевский монастырь: там работал под руководством художника Цветкова по реставрации иконописи.

Монахи угощали вином, фруктами, сочными обедами.

Я скоро поправился.

Поэт мечтал, работал, созерцал.

Захотелось перед Петербургом — побывать в Перми—почувствовать родных и Каму.

Побывал в Перми и снова—в Петербург.

Осенью в Петербурге Шебуев затеял издавать еженедельный журнал Весна и меня пригласил редактором.

Одновременно я стал сотрудничать в Обозреньи театров у И. О. Абельсона — писать рецензии о театрах и еще в—Вечерних новостях (печатал рассказы).

Журнал Весна продолжался месяца три.

Меня привлекли к суду за порнографию стихов Шебуева.

В Весне впервые начал печататься Игорь Северянин, Хлебников, Арк. Бухов, Пимен Карпов, Николай Карпов, Е. Курлов.

Здесь печатались: Андреев, Куприн, Петр Пильский, Аверченко, Алексей Ремизов.

Поэт стал глубоко дышать воздухом своих товарищей по печатному слову.

На одном из редакторских приемов (принимали попеременно Шебуев и я) пришел в редакцию Хлебников, принес спиралью скомканную тетрадку — Мучоба во взорах— и странно попятившись до дверей исчез.

И что то курлыкнул про себя.

Мучобу во взорах—напечатали.

Хлебников нечаянно в случайные часы вновь появился: новый, светлый, удивительный.

И с этой поры—когда Поэт нашел Поэта—мы—друзья на веки звездные.

Он нерасставался с Ним.

Журнал прогорѣл.

В Петербурге возникла ежедневная газета Белкова—Луч света.

Меня пригласили редактировать.

Я сгруппировал почти всю новую литературу.

Предложил сотрудничать Ф. Сологубу, Алексею Ремизову, А. Блоку, Вяч. Иванову, Кузьмину, Г. Чулкову, Хлебникову, Гумилеву, Городецкому.

На одном из первых редакционных собраний Г. Чулков и Городецкий вероятно из желанья завладеть моим портфелем редактора осудили зло мой образ действий.

Я ушел из редакции и газета кончилась.

Стал заниматься живописью и узнал, что Кульбин организовывает выставку картин (на морской)—Импрессионисты.

Я понес на жюри свою вещь—Березы—(масло, пуантелизм) и счастье мне разом привалило.

Картину повесили, оценили ярко и на вернисаже она продалась.

Тут знакомлюсь с Бурлюками, Ар. Лентуловым, Борисом и Элей Григорьевыми, Еленой Гуро, Матюшиным, Кульбиным, Дыдышко, Быстрениным, Спандиковым, Школьник.

Сплошь—самоцветы—глубокие парни.

Быстро и неразрывно схожусь с гениальным Давидом Бурлюком и его великолепными братьями Володей и Колей.

Я, Бурлюки, Хлебников, начинаем часто бывать у Елены Гуро (жена Матюшина) у Кульбина, у Григорьевых, у Алексея Ремизова.

Всюду читаем стихи, говорим об искусстве (за чаем с печеньем—Додя улыбнись), спорим, острим, гогочем.

В биржевке вечерней Н. Н. Брешко-Брешковский офельетонил нас—мальчиками в курточках, и нам стало еще веселее.

Мы закурили трубки.

Молодость юность, детство были всегда нашими солнцевеющими источниками творческих радостей.

Наша культурная вольность, буйная отчаянность, урожайный размах, упругие наливные бицепсы и безпредельная талантливость от природы—всюду оставляли ярчайший след нашего пришествия.

Стариковское искусство окончательно сморщилось, закряхтело.

Любого невинного лозунга нашего, вроде:

—Левая нажимай—

было достаточно, чтобы искусство старости сдохло, но—защищенное полицией, дворцами, буржуазной своей прессой, капиталом и мещанами изящного вкуса, —оно настолько неиздыхало, а даже решилось бороться доносами и намеками на нашу вредную анархичность и неблагонадежность.

А мы—истые демократы, загорелые, взлохмаченные (тогда я ходил в сапогах и в красной рубахе без пояса, иногда с сигарой), трепетные—уверенно ждали своего Часа.

Футуризм воссолнился.

Мы явились идеальными Детьми своей Современности.

За нами была гениальность, раздолье, бунт, молодость, культура, великая интуиция.

У нас еще небыло обильных плодов труда, зато была мировая энергия, стремительность, высшее напряженье сил.

Наконец было достаточно нас видеть или слышать, чтобы чуять пронзенность острого присутствия гениев.

А количество трудов никому ненужно.

Вот в такой—амплитуде назреванья от Грядущаго—Футуризма—расцветал Поэт.

Я стал работать в студии Давида Бурлюка, не переставая посещать вновь лекции.

Весной гостил у Елены Гуро-Матюшина на даче в Ораниенбауме.

Но лето уехал в Пермь и поселился жить в глухой деревушке Новоселы с братом Петей.

Здесь я начал жить по—стихийному, по—истинному—только как Поэт.

С утра до вечера я уходил в луга, в лес, в простор полей, жег костры.

Нашел где то в глуши—на речке Ласьве—заброшенную землянку, уладил ее и стал там проводить да как: задумал написать книгу—Землянка—в форме романа, с поэтическими сдвигами.

Но писались только стихи.

Впрочем Поэт написал там лирическую сагу в трех перемнах — Семь слепых сестер—для театра (до сих пор лежит без движенья на Каменке).

Я много охотился на рябчиков, играл на гармошке в деревне, пел частушки, кутил с парнями на вечерках.

Меня любили за гармошку.

К осени я написал большую лекцию (для заработка)—о Новой Поэзии—и прочитал ее в Пермском Научном Музее.

Ожиданья оправдались—успех был славный.

Василий Каменский—лектор.

Дальше.

Женитьба и Землянка.

Осенью (1909) Василий-студент вернулся в Петроград для продолженья занятий по агрономии.

Почти одновременно с ним из Перми приехала дочь пермскаго купца Югова—Августа Викторовна—вдова с двумя детьми: мальчиком Женей 4-х лет и девочкой Шурой 2-х.

Мужа Августы убили в 1905 революционеры—он был управляющим в К° Зингера в Тифлисе.

Интересно, что с Августой Василий познакомился, как кавалер с барышней, пятнадцати лет и это было его первое знакомство на романическом основаньи.

Тогда она была гимназисткой, а Он учеником городского.

Однако этот роман кончился только тем, что Василий-ученик в лютые морозы несколько раз проводил Августу из гимназии домой, да всю свою общую тетрадь исписал ее именем.

По приезде в Петроград Василий-студент усиленно начал заниматься живописью и так успешно, что

все свои работы—пейзажи (пуантель—масло) ярко-импрессионистическаго характера—Он продавал по 50 и более рублей—таким образом зарабатывая до 300 руб. в месяц.

Агрономическая наука остановилась.

Редко Он стал посещать лекции.

Зато очень часто—Августу, где подолго возился с мальчиком Женей.

Августа—тип полуцыганки: энергичная брюнетка с круглым лицом, любившая цыганское пенье, вольную, широкую жизнь, веселые путешествия.

Простая, искренняя, купеческая натура с чуткой душой она встретила в Василье яркого ответного друга—спутника одной дороги.

В октябре Василий повенчался с Августой в Петрограде.

Эта свадьба дома—в Перми произвела сильное возбужденное впечатленье, благодаря многочисленным родственникам с обоих сторон.

Отец Августы, умерший за год до этой свадьбы,—Виктор Югов—один из крупных купцов Перми—оставил дочери в пожизненное владенье огромный трехэтажный каменный дом с магазинами и большой капитал—тысяч пятьдесят.

А у Василья-студента небыло ничего—кроме личного труда и духовных богатств.

Вот это обстоятельство—для всех неожиданная свадьба—явилось целым событьем в Перми—и везде всюду по городу стали ходить всяческие слухи и разговоры.

И уж конечно все сходились на одном обывательском убежденьи, что Василий женился ради денег.

К Рождеству супруги приехали домой в Пермь.

Для Василья началась во истину неизведанно-купеческая жизнь.

Василий хотя и вырос в достаточно состоятельной семье Трущевых и имел богачей—двоюродных братьев Каменских (капиталы, дома, коммерческие предприятья и ныне)—и богатство для него небыло недоступностью или чудом, или фантастическим представленьем,—но вот будучи десять лет закаленным пролетарием, скитальцем по России, искателем приключений, мечтателем-путешественником, рыцарем всяческих начинаний—Он совсем отвык от буржуазной обстановки довольства и тем острее—ярче изумительно-новой стала жизнь, отныне полная самостоятельности в семейных и денежных делах.

Огромный дом с доходом в 10000 руб. в год, капитал, большая квартира, выезды, прислуга, богатая обстановка, жена, двое детей, фрейлен-немка (нежная культурная воспитательница), постоянные гости, театры, ужины—и среди этой жизни—смущенный Василий, отпустивший для важности рыжую бородку буланже.

Я изо всех сил помогал Ему чувствовать себя проще, лучше, нездешнее.

В ответ на Его смущенье перед такой купеческой жизнью я предлагал, ему больше выпить за ужином старой мадеры и—главное—помнить, что и этот буржуазный угар пройдет мимо и только надо перенести его легче—интереснее.

Так ведь проходит все.

Панорама испытанья до конца—неизбежна.

Ай—все пройдет
Все умрут—
С знойноголых ног
Сами спадут
Бирюза—изумруд.

(Стенька Разин)

Дальше. Дальше.

Я знал о нестерпимой печали Поэта: здесь Он был никому ненужен и непонятен до просто смешного.

Я знал о его грустинных глазах, что видели кругом на столах макулатуру барынь: Вербицкой, Чарской, Нагродской, Надсоновой, Щепкиной-Куперник и Пошлятиной.

Я знал о Его неудачной попытке положить на стол только вышедшую идеальную книгу единственной в поэзии женщины Елены Гуро-Шарманка (1909).

Я знал все и все предвидел.

Так было нужно.

Я даже начал бороться с Поэтом и убедил Его против своей совести перестать писать стихи до весны.

Я подсунул Ему краски и Он—как равный ребенок со своими ребятами—увлекся живописью.

Родственники смотрели загадочно.

Все ждали, что я по купечески возьмусь за хозяйство и коммерцию и докажу им ради чего Он женился.

Но я оставался совершенно равнодушным к внешней обстановке и ни в какие дела решил невходить на радость Поэту.

Этим счастливым случаем воспользовался наш управляющий и ловко завладел всеми делами доверчивой Августы, ласково называя ее кумушкой.

Я чуял, что управляющий—жулик.

Но терпел и молчал.

И Поэту это нравилось.

В феврале (1910) супруги Каменские вернулись в Петроград.

Он сейчас же познакомил жену с Бурлюками и Хлебниковым.

И тут на Фонтанке в комнате Василья было решено немедленно выпустить отныне историческую первую книгу футуристов—Садок Судей с участьем Елены Гуро—на товарищеских началах.

Поэт ожил, взволновался, расцвел.

Начались совещенья, сбор матерьяла.

Ради художественной идеи решили книжную бумагу для сборника заменить обратной чистой стороной обоев, специально подысканных.

Получилось так: на каждой правой странице книге печать, а на каждой левой—рисунок обоев.

Нашли типографию.

И в комнате Василья появились корректурные листы.

В марте вылетела на волю первая книга эпохи Чистаго Искусства, положившая начало российскому футуризму.

Книга Садок Судей сразу взметнулась яркоцветной ракетой на сером небе старенькой литературы.

О Садке Судей стали много говорить.

Всех поражала оригинальность, смелость, неожиданность, крайность, молодость.

Критика конечно заквакала во все болото.

Рыцарей исканий называли в газетах—Обойные Поэты— анархисты — сверх-декаденты — кучка желающих прославиться — футуристы — клоуны-американцы.

Только В. Брюсов (Русская Мысль 1910) да Н. Гумилев (Апполон 1910) отнеслись полусерьезно со свойственной сухостью инспекторов.

В это же время Василий по приглашенью Кульбина вместе с Бурлюками выставил свою живопись на выставке импрессионистов, на Невском.

Василий целые дни болтался на выставке и там познакомился с Евреиновым.

В начале апреля Каменские уехали в Пермь, а оттуда сели на пароход и по вскрывшейся Каме направились на Кавказ.

Приехали в Тифлис.

Здесь Василий целые дни пропадал в духанах на персидском базаре и там накупил много редких старинных вещей, персидской и кавказской и индейской древностей.

Кувшины, вышивки, кальяны, оружие, четки, платки, ковры заняли два сундука—вот эта покупка, впоследствие положила основанье музею на Каменке—где собраны с любовью всяческие редкости.

С мая вся семья поселилась на лето в Зеленом Мысу на горном берегу Чорнаго моря—в семи верстах от Батума.

Была снята прекрасная дача—особняк с полной обстановкой.

Василий занялся усиленно живописью и резвился с ребятами.

Семейная жизнь с Августой вместе с весной расцветала нежно и цветисто.

Зеленый Мыс приютил супругов тепло.

После выхода в свет Садка Судей и успеха на Импрессионистах (Василий продал свои вещи и о Нем писали) Поэта не покидала возбужденность удачи в поэзии и Он решил тут же начать роман Землянка.

Условья создавались желанно.

В горах, зелени, у моря, среди поющих птиц Он весь отдался весеннему гимну земли и стал усиленно работать над Землянкой.

— Начался беззаботный праздник зеленой Жизни.
Что такое май-месяц.
Это—пир Рожденья земли.
В этот счастливый месяц бог создал землю и каждую весну в эти дни Он спускается с неба и гостит у земли.
Оттого в майские дни так мудро просветляются человеческие души и сердца наполняются чистой утренней любовью.

А земля наряжается в цветы как невеста. Или многоцветный май—безпрерывно ликующая песня солнцецветенья—и под эту дивную песню звери парами рыскают по лесу, птицы вьют гнезда и каждый человек тайно улыбаясь говорит: — Люблю

(Землянка.)

На долгие часа Василий уходил в горы писать свою первую книгу.

Он писал увлекаясь на столько искренно, что пожалуй переживал больше, совершенно забываясь, что пишет книгу, и переживая горел творчески—рыцарски так горячо что не успевал записывать наплывающие мысли и образы—и нервничал.

Однако потом овладел собой и работа пошла стройно, но со сдвигами.

Отвлечений было много: поездки в Батум, в театр, на бульвар, гости, знакомства, купанья, возможности.

Кстати—приехала из Перми Соня.

Этак в конце июля у Василья открылась сильная малярия и Он временами начал тяжко страдать от припадков.

Все же в часы облегченья Он работал и Землянка заканчивалась.

Всех потянуло домой в Пермь.

Стали радостно собираться.

Кама вдруг показалась чудеснее Зеленого Мыса, а домашнее тепло теплее южного солнца.

Перед восторженными глазами Василья появились последние страницы Землянки—и это ему помогло.

Поехали в Пермь морем.

Дальше—Волгой.

Осенняя Кама действительно встретила дружно—приветно.

Пароход шумел меж гор и стихал у лугов.

На пристанях продавали арбузы.

Снова началась купеческая жизнь: суетная, шумная, пьяная, веселая, широкая.

Василий жил Землянкой.

К Августе явился с докладом управляющий и — еще ласковее называя ее кумушкой—заявил, что денег за кавказское лето он перевел нам очень много и много потрачено по дому.

Я чуял что управляющий—жулик.

Поэт бредил своей первой книгой.

Землянка снилась каждую ночь по разному.

Наконец в сентябре Василий уехал в Петроград издавать свой роман.

Через месяц книга была готова: печатала Общественная польза, которой ведал С. Елпатьевский.

А. Измайлов, В. Боцяновский обещали Василью дать статьи о выходе Землянки, но помешало событье.

В день выхода Землянки из дому скрылся Лев Толстой, а потом его болезнь и смерть.

Землянку сначала замолчали, но после большой статьи А. Измайлова в Русском Слове стали писать насмешливо-звонко.

Особенно журналы подхватили из Землянки птичий язык:

— (дрозд) Чух-чиу—Чур-чух—Чиу-чу—Трррчи.
— (иволга) Пциу-нциу—Чииц-увь-цинь-циу.
— (жаворонок) Рлю-и-рлю-сюир-льиль-рлю-сюрфь.
— (синица) Пинь пинь—Чирт-трью—Ци-ци-вий.
— (компанья птиц) Циль-циль—Тклю-к-цик.
— Уйть уйть—Исили-исили.
— Исяля-йть-цив—Циляи-ци.
— Цинть-тюрлью—Цинть-тюрлью.

(Землянка)

Этот птичий язык цитировался с особенной веселостью.

Редакции делали предупрежденья, что если кто встретит автора Землянки,—то с ним придется говорить на птичьем языке.

Во всяком случае Землянке отдавалось острое вниманье—книга быстро разошлась.

Прекрасное изданье, бумага верже, обложка и рисунки яркого Бориса Григорьева и друзья Садка Судей—помогли успеху.

Василий и я торжествовали.

Затуманился и решил летать.

Василий—взволнованный рожденьем Землянки—веселый вернулся домой в Пермь и победно—гордо вручилъ с огненной любовной надписью (и благодарностью) свою книгу Августе.

Однако та далеко не обрадовалась, когда стала читать Землянку после похабщины барыни Вербицкой.

Совершенно неподготовленная к Искусству она, как и все родственники, отнеслась к книге отрицательно, не желая слушать и учиться у автора о пришествии нового чистого во имя формы творчества.

Все просто плюнули на книгу.

Плюнули (и плюют теперь) пермские газеты, испугавшись революционного Духа и вкуса Землянки.

А когда из Петрограда с аккуратной—как всегда—любезностью стали приходить конверты Бюро газетных вырезок (Василий вступил в члены Общества помощи интеллигентным труженникам) и в них оказались рецензии газет о Землянке, рецензии полные острот, насмешек, а частью серьезного признанья дебютанта—авторитет Василья дома пал и Августа заявила, что ей стыдно за автора, над которым смеются газеты и журналы.

Торжество Поэта сменилось неиспытанной печалью.

Сердце сжалось в неизбывной тоске.

Нездешне светлые творческие мысли и поэтические гордые образы, которыми проникнута утренняя Землянка, трепетные мечты о новом искусстве футуристическаго Слова и рядом пошлая действительность—бездарно купеческая жизнь с вербицкими и чарскими, с управляющим и кумушками, с наследством и родственниками, с кретинизмом и пермскими газетами—всё это сбило Поэта с толку и заскучал Василий, заметался, забился в одиночестве, затуманился в угаре мещанства.

А так хотелось работать, творить, размахнуться.

И никого небыло около—кто мог бы почуять Истину—кто мог бы дружеским светом вниманья согреть расцветающую жизнь Его.

Он затаенно смолк.

Я же на первый момент как то потерялся что ли перед возрастающей наглостью семейной какофонии и сильно начал нервничать отстаивая Поэта.

Но скоро расправил свою волю и стал затевать какого либо совершенья.

И час настал.

Я решил летать на аэроплане—дальше.

Поэту затея сразу понравилась: Ему так недоставало к полетам ищущаго Духа—полетов тела под облаками, недоставало стремительнаго освобожденья в небо.

А я подумал:

— Поэт будет моим благодарным пассажиром на аэроплане и главное Он и Я станем истинными футуристами своих воздушных дней Аэровека.

Я уехал в Петроград, а там с известным авиатором Лебедевым решил ехать в Париж: кстати я никогда небыл заграницей.

Заграница.

Кинематографической сменой панорамы началась моя заграничная европейская жизнь.

Несколько дней в Берлине принесли много яркого, величественно-культурного, современного, все удивило до преклоненья и больше всего знаменитый зоологический сад и колоссальные кофейни, где я за кофе курил идеальные сигары.

Проехался по крышам и по подземной железной дороге, на гоночной моторной лодке по Шпрее, пил баварское пиво.

Видел в цирке Эдипа—постановку Макса Рейнгардта, памятник Рихарду Вагнеру.

Великолепный вокзал.

Дальше.

В день—в Брюсселе—видел Сенну с аристократического французского верха, закруженного ветром брюссельских кружев, был на фламандском низу демократической Бельгии.

Дальше.

Париж.

Остановился в гранд-отель на площади Гранд—Опера.

Взял автомобиль, помчался бульварами по площадям Бастилии к июльской колонне,—башни Эйфеля, Луврского музея, Согласия с Луксорским обелиском, Каруселя, Л'Этуалэ с триумфальной аркой.

Вечером стоял на балконе своего номера изумленный электрическим океаном огней.

Поехал по кабачкам Монмарта, напился абсенту, в Мулен-руж шампанского.

В следующие дни взялся за работу: начали с В. А. Лебедевым ездить на аэродром в Исси-ле-Мулино, а там—аеропланные мастерские, ангары, авиационные школы, полеты.

Пассажиром я поднялся на фармане и весь Париж развернулся пестрой скатертью.

Перед полетом выпил стакан коньяку на случай более легкого расставанья с жизненной суетой, выпил и сам авиатор.

Полет оказался пьянее: мне совершенно вскружило голову и я—кажется—заорал во всю глотку от наплыва энтузиазма.

Было жутко-ново до божественности ощущенья, до ясности райских галлюцинаций, до сумасшедшей красоты.

От счастья испытанного полета два дня я невыходил из кабаков Монмарта, упорно исследуя абсент—любимое орошенье Артюра Рембо и Верлена.

Подошел чудесный праздник Карнавал Микарем.

Сотни тысяч жизнерадостных парижан с утра, во всяческих маскардностях, с оркестрами, колоссальными цветами, плакатами, песнями и весельем рассыпались по бульварам.

Встреча белых королев Карнавала у Луврского музея была украшена прилетом аероплана, с которого авиатор бросал королевам (выборным работницам) живые цветы и конфетти.

Вечером от щедрого бросанья конфетти—улицы на четверть покрылись разноцветным бумажным снегом.

Мой подъем на башню Эйфеля в сильный ветер заставил меня искренно оценить высокие достиженья столицы Мира.

Мне очень понравилось парижское уменье жить на улице, чувствовать себя культурно-демократически.

В гигантских многоярусных магазинах Бон-марше, Лувр я накупил всякой ерунды ради обворожительных продавщиц.

Дальше.

Я решил ехать в Лондон на всемирную выставку воздухоплаванья.

На океанском корабле через атлантический Ламанш меня дьявольски укачало.

Меня и знаменитого Фармана (тоже укаченного) спасал Лебедев.

После переправы в Лондон—вся Англия качалась в моих глазах дня три, вместе с выставкой авиации, где я бродил: значит недаром пишут, что Лондон всегда окутан густым туманом.

В ресторанах меня поразил пудинг с ликером—зажженный.

Парижская простота улиц сменилась чопорной Пикадилли.

Удивили туннели под Темзой, музей Индии, Хрустальный дворец, Истэнд—морская торговля вдоль гавани Темзы.

На аэродроме в Гендоне проводил полетные дни, гонялся на автомобилях, завтракал у каких-то лордов в честь авиаторов, видел суфражисток и не видел капли искусства—всюду буржуазная отсталость, провинциальность.

— Зато—футбол—гениальный.

— Гуд-бай.

— Дальше.

Обратно через Ламанш — было спокойно — начался отлив и корабль наклонившись очутился на земле около берега Франции.

Я, Лебедев, и еще несколько спортсменов американцев спустились по веревочной лестнице и бросились бежать по дну морскому сквозь туман к Булоню сюрмер и добравшись, укатили в Париж.

В Париже расстался с Лебедевым и уехал в Милан.

Оревуар.

В Милане в Скала пел Шаляпин, летали над античными статуями аэропланы, возвещая Современность.

Заехал во Флоренцию, в Венецию.

Плавал в гондолах по безчисленным каналам, смотрел картины, итальянок, ел фрукты, пил вино, изучал старину.

Дальше.

Вена.

Венские дивные кофейни, венское пиво, вино, кофе, кружевные венки, всюду музыка, венгерские танцы, обилие журналов.

Вена исключительно понравилась.

Дальше.

Снова Берлин Иоганисталь — аэродром.

Летаю восторженно на цепелине над Берлином-ауфидерзейн.

Дальше.

Петербург.

Покупаю аэроплан Блерио, еду в Гатчино — тренироваться на аэродроме.

Сначала рулирую, бегая по земле, потом взлетаю по прямой и делаю виражи.

Один раз падаю с небольшой высоты, ломаю хвост аэроплана и царапаю себе ноги.

Уезжаю с аэропланом в Пермь — тренируюсь там на песках возле Камы.

Потом к зиме всей семьей—я, Августа, Женя, Шура, фрейлин (ныне Мальцева) и сестра Соня—едем жить в Варшаву—с аеропланом: я серьезно тренироваться на званье пилота—авиатора.

Перед самым отъездом к Августе пришел наш жулик—управляющий и давай вымогать—подписать ему векселей на одинадцать тысяч, встал он на колени, плакал, молил кумушку, крестился.

Я хотел его выгнать по шее, но Августа мне запретила вмешиваться в коммерцию и подписала—по слабости женской на свою ответственность.

Управляющий возликовал, учтя векселя.

Мне было больно, стыдно.

На аэроплане.

Сейчас же по приезде в Варшаву (1911– осень) Я энергично взялся за полеты.

На великолепном аэродроме Любомирскаго на поле,благодаря знаменитому авиатору—инструктору и другу моему Х. Н. Славоросову, мои полеты на аэроплане Таубе пошли интенсивно – успешно.

Тут же летали со мной известности: Кампо—Сципио. Янковский (чудесный — беззаветный рыцарь воздуха), Сегно, Лерхе.

Славоросов совершал звездные полеты и был (и остался) общим любимцем, чья карьера началась с того, что он поступил в этот же авиационный завод простым рабочим.

Позже он приобрел заграницей мировое имя гениального летчика.

Наша варшавская авиаторская жизнь среди крыльев, моторов, бензина и запаха масла, носила неземной характер.

Мы жили небесными птицами: летали, пели песни (в авиаторской было пианино), веселились, пировали танцовали клöкс-данс.

Летали в 4 часа утра и вечерами.

В ноябре в Варшаву из Петрограда — государственного аэроклуба—приехал комиссар Е. Вейгелин для производства с комиссией авиаторских экзаменов.

Я стал экзаменоваться по международным правилам.

Летал 1 час. 47 мин., выполнил все задачи.

Получил диплом на званье пилота-авиатора государственного аэроклуба.

Семья уехала в Пермь.

Весной я и Славоросов (авиаторы другие разъехались) в Варшаве снова открыли полеты по утрам и вечерам, собирая массу зрителей.

К пасхе я уехал на гастроли — летать по польским городам.

29 мая (1912), совершая в Ченстохове публичный полет в сильный ветер (перед грозой) я перевернулся с аэропланом на большой высоте, камнем упал и тяжело разбился.

Меня увезли в госпиталь.

11 часов я был в глубоком безсознаньи.

Свой аэроплан расшиб в щепки.

Целым остался мотор.

В утренних газетах напечатали некролог (во время выпуска газет я лежал еще в обмороке) под заглавием: погиб знаменитый летчик и талантливый Поэт Василий Каменский.

Всюду в газетах России описывали мою катострофу: меня завалили телеграммами и цветами.

Мой механик пришел в больницу передать, что щепки аэроплана публика разобрала на память, что сбор был колоссальный.

По выздоровленьи я уехал домой—в Пермь, захватив мотор и новые крылья.

В Перми узнал—управляющий наш так обжулил нагло мою жену — свою кумушку, что капиталл рухнул.

Мои же дела стали великолепны: были сбереженья за полеты и из Петрограда ждал крупную субсидию за паденье.

В конце лета — достаточно оправившись от катастрофы—я задумал приобрести именье.

Мне повезло: знакомый управляющий пермских огромных имений Балашова И. В. Лещенко предложил мне выбрать интересное — яркое для меня место.

В средине августа я выбрал желанное горное, сосновое место с речкой Каменкой, лугами, полями, недалеко от Перми.

И приобрел около 50 десятин (часть в долг).

Так сотворилась Каменка.

Каменка.

Я обезумел от счастья: взбалмошные фантазии Поэта о своем гнезде в родных горах сбылись.

Каменка явилась чудом, спасеньем, нескончаемым праздником, сказочным гнездом.

Я восславлял стихийно, огненно, язычески привалившее счастье.

Благодарил И. В. Лещенко, который так широко и культурно пошел мне навстречу,—свою Августу, чьи заботы обо мне были всегда трогательны,—милую (где делась купчая) контору нотариуса Козакевича,—собственную свою сокрушительную энергию и крыловейную волю.

Я был нестерпимо рад за воскресшего Поэта: мятежная судьба Его здесь могла найти творческое успокоенье, сосностройное созерцанье вершин с вершины Своей горы, синевечернюю тишину и солнцевстальное пенье птиц среди лесов и полей.

Здесь столько сияло от Землянки, от Детства, от Песен.

Я почувствовал себя настоящим Робинзоном Крузо и Стенькой Разиным в Жегулях.

Я воткнул себе за пазуху топор, засучил красный рукав и пошел хозяйничать по Каменке.

Дела было без конца.

Построек конечно никаких, просто горная глушь, а ближайшая деревня Шардино в двух верстах.

Если ехать из Перми (на лошадях трактом 4 часа увидишь недоезжая с версту: на южносолнечной стороне — амфитеатром изогнутая Каменная гора с сосновым-еловым лесом сплошной стеной, а этак в вершине (теперь построенный) впаян высокий бревенчатый дом—двухэтажный с балконом, крутой по норвежски срезанной крышей, у подножья домик с сельскохозяйственными службами и возле речка Каменка с лугами.

За Каменкой поднимаются наши поля и снова наш лес.

Работы у меня был неисчерпаемо.

Купил срубы для дома и служб, нанял заготовлять свой лес на постройки, с рабочими расчищал место в горе.

Волновался, суетился, обдумывал, чертил планы, скакал от затей радостных.

Топор не выходил из рук, натерев мне первые гордые мозоли на ладони.

Семья переехала жить в деревню Шардино.

Женя приносил мне обед на Каменку—я разжигал костер, разогревал, ставил чайник, ел, пил, веселился, махал руками, распевал, работал посвистывая.

Иногда охотился—приносил рябчиков, зайцев.

Зимой, оставив за себя подрядчика, мы вся семья уехала в Пермь—до весны.

В Перми на судостроительном заводе братьев Каменских я начал строить ранее изобретенный мной водяной автомобиль—аэроход—с воздушной тягой, который, мог бы носиться и по земле (и в будущей стадии — по воздуху).

В чертежах мне очень помог старший чертежниж завода Саша Потапов—друг детства и славный управляющий—мастер в строительстве моторных лодок—И. Д. Иртегов.

Тем временем—пока строился аэроход, пока шла заготовка на Каменке, куда наезжал,—я взялся—ради идеи и зароботка—организовать в Перми первую Выставку современной живописи.

Снял благородное собранье.

26 художников Москвы и Петрограда прислали свои вещи.

Выставка получилась блестящая и вряд ли когда скоро Пермь увидит такой культурный праздник красок от реальнаго Малютина (портрет) до футуристическаго Давида Бурлюка (Он и Н. Гущин помогли дружески).

Находясь дома я выставил много своих вещей—футуристических, детски—ярких.

Публики было масса, но почти все предубежденные разными буржуазными—Русскими Словами—Биржевыми — провинциально смеялись даже над Малютиным, думая, что и он—футурист.

О—пермяки.

Я усердно давал разъясенья.

Продалось мало: Попатенко, Бурлюк, Гущин, Субботин—Пермяк.

Своих же картин на удивленье себе продавал много, а в это время в раздевальной часто появлялся с Каменки подрядчик за деньгами, которые он и получал.

Выставка поддержала здорово.

Однако мое восторженное состоянье сменилось траурной печалью: нелепо умерли одна за другой—любимые — моя тетя Саша Трущева — воспитательница, и моя единственная сестра Маруся.

Испытанье построеннаго (средствами завода) аэрохода с моим авиационным мотором прошло успешно на Каме, но без подъема с моей стороны—изобретателя, опечаленного событиями.

Первым моим пассажиром был редактор местной газеты Перфильев, изрядно подвыпивший перед риском испытанья.

Снимки испытаний моего аэрохода были: в Искрах (Рус. Сл.), Огоньке, К спорту и др.

Я—что называется—и до сих пор об аэроходе оставил вопрос открытым.

Надо было спешить на Каменку, достраивать окончательно дом к осени.

С семьей мы переехали в Шардино снова.

Работа на Каменке кипела: дом, огород, поля.

Летом приехал гостить Алеша.

Я много возился с Женей—Шурой, гуляли на Каменке, много рисовал с ребятами, разсказывал им всякие чудеса, работал.

Архитекторство мое успешно кончалось.

Начался сенокос, появилась земляника.

Косил во все лопатки, все кругом работали, кричали, собирали ягоды.

Поспела рожь, овес, засеянный с клевером.

Огород: картофель, марковь, капуста, репа.

Лето катилось ярко, молодо, энергично.

По праздникам я так хорошо играл в деревне на гармошке, что крестьяне шутили:

— За такую игру тебя Василий надо в государственную думу выбрать.

Осенью Августа с ребятами решила ехать на Кавказ, зимовать в Тифлисе, куда я должен был приехать к ним.

Я проводил семью на пароходе, неподозревая, что расстаюсь с горячо любимыми и любящими меня Женей и Шурой почти совсем: ведь все эти четыре года я с ребятами был необычайно дружен и близок.

У Августы были вероятно какие то свои сообр
женья или просто мы устали друг от друга—
знаю—будь—что будет.

С Алешей мы переехали на новоселье—в новы
сосновый дом на Каменке.

На радостях много пировали, заводили грамофо
играл я на гармошке, Алеша акомпанировал
гитаре, ухали, пели.

Справили.

У меня больше не стало денег: надо было ехат
на заработки.

Дома оставил дворника, караулить и смотрет
за скотом.

Алеша уехал в Петроград, до весны, в аптеку.

Я укатил в Москву читать лекции.

К полевым работам в апреле решили съехатьс
на Каменке.

Ю.

Что есть Буква.

Василий Каменский учит.

Буква есть идеально-конкретный символ зачатия мира (слова)—мускул летающего крыла (слова)—взломанный блеск молнии, вызывающий гром (слово)—начало источника бьющего из подгоры, чтобы в стремительном слияньи с другими истоками образовать журчей или речку (слово) во славу движенья реки (мысли) до океана словотворчества.

Буква—взрыв, Слово—стая взрывов.

У каждой Буквы—своя Судьба, своя Песня, своя жизнь, свой цвет, свой характер, свой путь, свой запах, свое сердце, свое назначенье.

Буква—это совершенно отдельная планета вселенной (слова—понятия).

Буква имеет свой рисунок,—звук,—полет,—дух, свою твердость, свое вращенье.

Рожденное Слово—божественное бракосочетанье нескольких пар или троек Букв.

Гласная—жена.

Согласная—муж.

Согласные—корни Букв, отцы.

Гласные—движенья, рост, материнство.

Натянутый лук охотника—согласная, а спущенная стрела—гласная.

Каждая Буква—строго индивидуальный мир, символическая концентрация которого дает нам точное определенье внутренней и внешней сущности.

Образец—Ю.

Ю
Юночка
Юная
Юно
Юнится
Юнами юность
В июне юня.
Ю—крыловейная лейная.
Ю—розоутрая рая.
Ю—невеста Ста Песен.
Ю—жена Дня.
Ю и **Я**.

(Девушки Босиком.)

Если встретится Ю в тысячах словах и на каких угодно языках—Ю всегда принесет слову женственность, звучальность, розоутренность, гибкость, возбужденье.

Буква К дает слову твердо-холодно-острую материальность: корень, клинок, камень, кирка, кость, сук, ковка, кол, кистень.

Буква М—зов животных: ммy—корова, ммэ—овца, мяу—кошка,—ма-ма зов ребенка, моя, мы, молитва, милая, приманка—ощущенье тепла жизни.

Буква О—колесо простора, воздух, небо, высоко.

Буква Н—мистичность: некто, неведомый, ночь, начало, канун,—отрицанье: нет, не, никогда, немой.

Слово Окно=о+к+н+с=значит: простор+материя (стекло и дерево)+граница ночи+воздух=окно.

Буква Б — божественно-стихийное начало: бог, бытие, библия, бык (священный), будущее, буря, бедствие.

Е—день, свет, селенье, дерево, елей.

А—арка, радуга, мать, ау.

Р—кровь, труд, гром, раскат, удар.

И—связь, прибавленье, вода: пить, лить, нитка, вино.

Слово небо=н+е+б+о=значит: неведомость+свет+божественность+воздух=небо.

(Это из Его лекции о словотворчестве).

Вчить-карм.

Раз в вечер из-синя-изумруднаго мая—когда лилово в долинах уральских пахли травоцветенья, а небо казалось васильковоглазым шатром—я и Василий (у себя на Каменке) поднялись на гору Цингал.

Сели на самой вершине.

Он взметнул головой, вздохнул, улыбнулся высоким горизонтам.

Может быть вспомнил он о полетах над синими коврами земли из старинного шелка Китая.

Может быт услышал он зовный зов океанских волн приливающих для отдыха к скалистым пристаням.

Или может быть узнал он сердцем глаза той, что осталась там ждать.

Есть страна Дания
Есть страна дальняя
Есть имя Аннія

Есть имя—Я.
В пальмах раскинута
Синь—Океания
Синь—Апельсиния
Синь—Облака.
Где то покинута
Девушка с острова—
Острая боль глубока.
Девушка Анния мною покинута
Жить и томиться
В шатре рыбака.
(Девушки босиком)

Он еще вернется к ней: Поэт-Птица, мексиканская птица Хоулн-стэй.

Он сам написал повесть – Любовь Наездницы— где Поэт с крыльями увидел душу свою в птице и птица Хоулн-стэй стала его и возлюбленной, его Юннэ—судьбинной птицей.

Мимо нас в долину пролетела ласточка.

Он крикнул ей:

— Вчить-карм.

Я мог бы спросить Его о значении этих слов, но почувствовал, что не надо.

Я почти понял.

Мне кажется, что рожденье слов является разрывностью соединенной воли двух творчеств.

Линия острого Налёта ласточки близко и встречная стрела глаз Поэта, наблюдающего полёт, в творческом пересечении дают звук:

— Вчить.

Линия отлёта и мгновенный взмыв вверх и испуганный резкий поворот кидают отзвук:

— Карм.

Творчество ласточки заключалось в рисунке движенья и в свистящем шуме, рассекаемого крыльями воздуха.

— Вчить-карм.

Творчество Поэта возникло на точном определеньи звуковой формы и на ритмическом соединеньи единого впечатленья, сконцентрированного волей верного мастера—песнебойца.

— Вчить-карм.

Так наивно—приблизительно я (скрывая от Поэта) объясню момент словотворчества, понимая ясно, что хризолитовая линия падающей звезды—объясненная словами—(да еще днем) будет походить на кишку вымотанную медведем из коровы.

А расчитывать на рыцарей чистаго искусства—чующих истину—скучно и им это—мимо—все равно—дальше.

Пожалуй я имею ввиду друзей и еще каких нибудь чудаков.

Ах—эти чудаки.

Только они (берутся откуда—из Гдетотамии)—эти милые чудаки поддерживают всяческие открытья в искусстве молодости.

Это они – святые чудаки открывают—как гусята—розовые рты и в удивленьи ждут от футуристов щедрого питанья.

Чудаки отличаются от друзей бескорыстием и преданностью тайной и стойкой.

Как то Василий в Москве (1915) вместе с другом Давидом Бурлюком устроили лекцию о святых чудаках.

Но кажется чудаки не поняли что они—чудаки.

По крайней мере Д. Бурлюк вскинув лорнет спросил:

— Как же так Вася.

Потом привалил Маяковский и сразу же начал истерически читать стихи.

Стали слушать.

Недоразуменье выяснилось: лекция по жандармским правилам тех времен называлась—Война и Культура.

И это все вспомнилось в вечер мая на горе Цингал.

Я отдал траве Поэта.

Он обхватил траву, припал к земле и медленно—тихо сказал:

— Пью.

Солнце лилось апельсиново-закатно.

Пахло божественной безпечностью.

Поэт жил у нездесь.

Футуризм.

Московская зима расцвела бурно.

Футуризм разлился океаном.

Василий Каменский, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, после ряда отчаянных выступлений (с Крученых и Хлебниковым) в Москве и Петрограде получили приглашенье на гастроли по России.

В некоторых городах выступленья я организовал сам, а в иных—антрепренеры.

Маяковский ездил в яркошелковых распашонах, в цилиндре.

Давид Бурлюк—в сюртуке, с неизменным лорнетом с раскрашенным лицом, в цилиндре.

Василий Каменский—в коричневом костюме с нашивными яркими лоскутами, с раскрашенным лицом, в цилиндре.

Футуризм оказался в надежных руках этих трех экспрессов от Грядущаго.

Улицы Харькова, Одессы, Киева, Ростова, Баку, Тифлиса, Казани, Самары, Саратова и второстепенных городов оказались неменьше взволнованы, чем землетрясеньем.

Всюду театры были переполнены возбужденными массами.

Газеты встречали и провожали шумным треском столбцов всяческих критиков.

С залитых электричеством эстрад три гения от футуризма выкинули в море голов экстравагантной публики — сотни своих решительных лозунгов, закрепляя их стихами высшаго мастерства.

Триумфальное шествие трех Поэтов — Пророков — футуристов, чья солнцевеющая Воля, обвеянная весенней молодостью, — взвивалась анархическим знаменем Современности, — утвердило в десятках тысяч сердец Бунт Духа.

Старое искусство было чудесным предлогом для Проповедников Грядущаго, чтобы вместе с ним разрушить буржуазно-жандармский строй и создать новые формы Единого Культурного Человечества.

Умные—ясно и гордо понимали наши революционные жесты.

По внутреннему отсвету сияющих Истиной Глаз Слушающих,

по возбужденности идущих на подвиг,

по приветствиям девушек и юношей,

по скрежету зубов купцов и чорных прислужников царизма,

по статьям кретинов-критиков—

Давид Бурлюк, Маяковский, Василий Каменский—стихийно чуяли Свое великое назначенье футуристов и вдохновлялись во славу размаха—

— Дальше.

В Петрограде в это время с лекциями выступали ярко: Крученых, Б. Лившиц, Хлебников, Кульбин, Гнедов, Игорь Северянин, Матюшин, Николай Бурлюк, Ховин (журнал Очарованный Странник).

А в Москве ораторствовали: Ларионов, Гончарова, Лев Зданевич, К. Большаков, Шершеневич, Асеев, С. Бобров, Б. Пастернак, Маринетти (его приезд из Италии).

Вылетели книги—сборники: Дохлая Луна, Молоко Кобылиц, Хлебников (том стихов), Галдящие Бенуа (Д. Бурлюк), Маяковский (трагедия, шедшая в театре Комиссаржевской), Крученых (несколько изданий разных.)

Вышел Первый Журнал Российских Футуристов—толстый с рисунками.

Редактор—Василий Каменский, издатель Давид Бурлюк (он был солидным издателем многих изданий).

В марте вылетела пятиугольная книга железобетонных поэм Василья Каменского—Танго с коровами.

Я хочу Один
Плясать Танго с Коровами
И перекидывать мосты
От слёз Бычачьей Ревности—
До слез пунцовой Девушки.
(Танго с Коровами).

Так весна 1914 года пышным карнавалом раскинула по России Пришествие Футуризма, утвердив Вольность Творчества на веки звездные.

Дальше.

В гостях.

В мае—в Перми—я подружился с девушкой Фаней Митрофановой, на пароходах Камы и Волги уехал с ней в Пензу к моим близким друзьям—Лиде и Косте Цеге.

Через месяц мы вернулись на Каменку.

Алеша с Марусей—молодой женой—были уже там, и Соня, и Витя—племянник.

Домик наш светился утренним счастьем, сосновым теплом, тишиной гор.

С балкона далеко вокруг видно.

В чем судьба—чья
Голубель сквозь ветвины.
Молчаль.
Все сошлись у журчья.
У на горке рябины.
Закачает качаль.
Расцветится страна

Если Песня стройна
Если струйна струна
И разливна звенчаль
И чеканны дробины.

(Девушки босиком).

Поэт отдыхал: Он писал стихи.

Поэт отдыхал: Он в разных городах накупил много редких дорогих старинных вещей—особенно на Кавказе—во время гастролей—и теперь устраивал Свой музей, Свое гнездо, Свою красоту.

Он разговаривал с вещами по иному так, будто они Ему отвечали.

Всюду с любовью ставил вещи, развешивал картины, рисунки, материю, парчу, иконы, подносы, четки, лампады.

Я ходил в лес, охотился, работал по хозяйству, возился с собаками, гонял верхом, рыбачил, веселился.

Фаня, Соня, Маруся, Алеша—хозяйничали.

Иногда кто-нибудь из нас ездил в Пермь на своей лошади (езды 5 часов) за покупками, газетами, на почту.

Поэт начал писать большую вещь, для театра—представленье жизни, изображающее Переселенье Души: где земная жизнь—лишь мимолетное звено пролетающей Птицы Странствий.

Переселенье Души – жизнь Поэта, судьбе которой фантастически везет настолько, что Поэт стремительно испытывает все высшие радости земного Звена, все исчерпывает до конца в этой жизни и мудро переселяется в Птицу Странствий с неизменно-мятущимся криком Духа:

— Дальше.

Кроме этой вещи—писал стихи, большую поэмию о Хатсу-индианке—наездница из цирка (через год напечатанную в Стрельце).

Жизнь Каменки струилась крепким рубиновым вином.

Сосновые дни юношески трепетали.

Музей Поэта развернулся сказочно.

Светлый уют нового солнечного дома звенел хрустально-блестко в сердцах талантливых радостями обитателей.

Поэт закончил Переселенье Души (лежит без движенья).

Зашевелились Его крылья.

Осенью с Фаней я уехал в Москву—там с Давидом Бурлюком сняли студию—работали, собирались, проэктировали выступленья.

Ходили в гости к ученому из критиков А. А. Шемшурину—нашему славному другу, всегда скрывающемуся в стогах книг и картин.

Зимовать уехал в Куокаллу (Финляндия) на дачу к Евреинову—работать, писать книгу—монографию: Поэт получил предложенье от Н. И. Бутковской—издательство Современное Искусство в Петрограде—написать о деятельности гениального Режиссера Жизни (тогда Он кончал свой огромный труд—Театр для себя) Н. Н. Евреинова.

Здесь в Куокалле Поэт близко знакомится с всемирно-знаменитым И. Е. Репиным—бывает у Него на журфиксах по средам, читает стихи, славит футуризм.

Чудесный старик И. Е. Репин производит на Поэта глубинное, мудрое впечатленье осолнцепаленнаго в высоких дорогах Странника.

Поэт встречал И. Е. Репина в гостях, по воскресеньям у Своего нежнаго—англичанина Душой—культурного друга, известного К. И. Чуковского, или И. Е. иногда приходил в гости к Евреинову, с Своей милой дочерью Верой.

Помню: меня необычайно остро тронул простой, но выпукло-образный рассказ И. Е. о том, как Он видел публичную казнь Желябова-Кибальчича.

И. Е. Репин написал (5 сеансов) большой портрет Поэта Василья Каменского и сделал несколько рисунков с Его в альбом Чуковскому и Себе.

Этот портрет был выставлен на выставке передвижников в Москве и Петрограде.

За вечерним столом у Н. Н. Евреинова Поэт часто встречался с Е. А. Молчановой, В. Блиновой (соседкой), Юлией Ивановной (воспитанницей Н. Н.), Евреинов играл на пианино Свои вещи, тонко острил, напоминал Собой Гоголя, кого нибудь изображал, слушал стихи Поэта.

Наезжали петроградские гости: М. В. Ильинская—бывшая премьерша Госуд. театров, Н. И. Бутковская, Бурлюк Давид, Кульбин.

К весне Поэт закончил книгу о Н. Евреинове.

> И ты моя алая песня, взвейся небовой венчалью и упади радужным звоном в сердце каждого, кто трепетно молод и пьян во славу Преображенья.
> И ты моя песнеянная жизнь, расцветай ярким цветом и прыгай мячиком на площади Каруселей—Сегодня веселится мудрый Режиссер Жизни—Театра—Н. Н. Евреинов.
>
> (Книга о Евреинове).

Я переехал в Петроград и был секретарем нескольких левых выставок, где участвовал с своими картинами и—на Трамвае Б (Пуни И., Богуславская К., Малевич., А. Экстер, В. Татлин).

Поэт часто выступал в Бродячей Собаке со стихами у всем родных Бориса Пронина и Веры Константиновны.

Бродячая Собака—была любимым углом—кабачком—театром—монстром Поэтов, Художников, Композиторов, Актеров.

11 февраля 1915 г. в Бродячей Собаке состоялся вечер Пяти (сотворчество): Поэты—Василий Каменский, Игорь Северянин, Давид Бурлюк и Художники—Сергей Судейкин, Алексей Радаков.

Поэт взвыл разбойничьи стихи.

Здесь в Собаке праздновался широко выход большого сборника Стрелец (редактировал джентльмен Беленсон, экзотический автор голубых панталон) и тогда Максим Горкий сказал речь о признаньи футуризма.

О Стрельце шумно писали,—там были стихи Поэта, Поэмия о Хатсу, критический разбор А. А. Шемшурина о железобетонных поэмах Поэта—из Танго с Коровами.

Эти поэмы (графическое-словесное творчество) всегда ненравились П. Щеголеву из Дня.

Профессор С. А. Венгеров для критико-библиографического словаря взял краткую биографию Поэта е Его портрет.

(Профессор напишет).

Поэт посещал в Петрограде друзей: Элю и Бориса Григорьевых, Алексея Ремизова (где познакомился с Ивановым—Разумником), М. В. Ильинскую, Н. И. Бутковскую, Матюшина.

В эти же дни Давид Бурлюк повёл Поэта погостить к приехавшим в свою Петроградскую квартиру (на Невском) Друзьям Искусства П. Е. и Н. Д. Филипповым.

Бывал у Ф. И. Шаляпина, Максима Горького.

Гостил по несколько дней в Гатчине у стихийного Куприна,—в Куокалле у Евреинова, ездил в рязанское именье к Ф. А. Малявину, с которым охотился на лисиц.

Ф. А. Малявин с исключительной дружбой отнесся к Поэту (и вся Его семья), восхитив Его изумительной чуткостью и широтой, неуступавших по яркоцветности знаменитым Его малявинским бабам.

Не каменья, не шолк и не золото
Не повадка лихая ушкуйная
Обуяла меня удаль смолоду
Да житье безшабашное—буйное.
(В. Каменский из Н. Сатирикона).

Ездил Поэт в Москву—повидаться с Маяковским, Бурлюком, Ар. Лентуловым.

В Москве Он близко познакомился с чудесным Вас. Ив. Денисовым—часто у В. И. бывал в мастерской, впивая Его ясноглубинность яркого Отшельника—чей размах вольного Мастера великой Интуиции.

Поэт горячо восторгался разливностью К. А. Коровина, светлой скромностью С. В. Малютина (С. В. писал пастелью портрет Поэта).

Настроенный всегда опьяненно молодо, Поэт с искренней близостью и горячим желаньем знакомился с людьми Искусства.

Подходил тонко, остро, раздольно, искренно,

Будто жаворонок Он весенне звенел над полями творческих затей мастеров—товарищей, всегда ожидая от них Чудес и сокрушительных удивлений.

В Москву тогда вернулся – после долгого отсутствия из России—Бальмонт

Его стали чествовать друзья в Литературном Обществе большим ужином (председательствовал Валерий Брюсов)—Поэт прочитал Бальмонту приветный дружеский тост Свой.

Всюду и везде Он являлся возвестником Карнавала и победно кричал:

— Поэзия—Праздник Бракосочетанья Слов.

Его гениальность (Я о Нём).

Природная от глубин земли яркоцветная самобытность, размах и стихийная вольная сила—вот признаки во истину отмеченной гениальности Василья Каменского.

В его росных глазах стрелы утренняго солнца, а улыбка или играющаго ребенка или светлогрустинного мудреца.

В его крепких руках резец, плуг, топор, кирка или перо.

Или перо каленой стали.

В его росте и цвете стройная гибкость северной рябины, а в волосах кудри спелой ржи урожайного края сам-тысячу.

В его голосе—строгая нежность, заботливость, музыкальность.

Или вдруг он звучит раскатно—призывно (если говорит речь на лекции, митинге, собрании, пирушке) или вдруг—когда читает свои стихи—весь преображается до нездешняго и созерцая будто с горы в разливной напевности открывает слова.

Звенит вода хрустальная
Журчальная вода—
Моя ли жизнь устальная
Устанет мчать года—
Я жду чудес венчающих
Девушку я стерегу
Сижу в ветвях качающих
На звонком берегу.
Цинь—цивий
Цивью—цинть.
(Девушки босиком).

Это из любимой его и друзьями—поэмии о соловье.

В Его отношении к Миру и к людям—столько без берегов благородного внимания, рыцарской чуткости, поэтического удивления, крыловейной раздольности.

И столько от Вечности, от Грядущаго, от Звезднаго сияния.

В его движеииях—Индия и среди растений он—Иог.

Я видел его часто прислонившимся плотно корой к дереву и по ветвям он простирал руки.

Я знаю Он искал встретиться с душой дерева, чтобы спросить о судьбе иного постижения мира и сказать о своем Земновании.

Иногда я издали наблюдал как Он чисто и кротко где нибудь на лугах или в городе подходил к животным и—уверившись, что один среди них—говорил с ними, говорил медленно, плавно, созерцательно.

И каждому животному говорил отдельные слова, смысла которых я—как человек—понять не мог.

Людей он чуял сразу, стихийно.

Одним взглядом он пронизывал будто безгромной молнией душу встречную и узнавал всю сущность, все внутреннее дарование, все изгибы, все возможности, всю судьбу каждого человека.

И ни в ком неошибся, если подходил близко или от кого уходил совсем в свое одиночество.

Великим из его достоинств было — никого не осуждать и все понимать и — главное — прощать просто и светло тяжкие и чорные обиды.

Я часто старался нарочно подольше удержать его в обиженном состояньи и видел сердцем как это было ему больно.

Но Поэт всегда сокрушительно побеждал и меня и всякие обиды — и вместе все земное — и весело снова распевал.

Я отчаянный рыжий Поэт
Над долинами—зыбками
Встречаю рассвет
Улыбками Для.
Для не все ли равно.
Ветер. Трава.
Пой со мной—
Я песнепьянствую.
(Девушки босиком).

Мне кажется глубже всего Поэта обижало всеобщее непониманье его гордого назначенья Его Красоты, Его Любви, Его Песен во славу дней приливающих с горизонтов.

Я знаю, что мы—обыкновенно серые и пестрые люди—мы неумеем понимать—отвечать—ценить—оберегать Поэта.

Мы—публика книг и театров—умеем только грубо брать, хватать, черпать, насыщаться за счет великих духовных богатств Поэта.

Мы—публика—книг и театров—иногда умеем отблагодарить Поэта памятником после его смерти или чаще и дешевле диким хлопаньем в ладоши после его выступленья.

Но мы никогда неумеем приблизиться до сотворчества к Поэту.

И мы никогда ничего недавали Поэту—кроме обид, пощечин и грубого непониманья Его Пришествия.

Правда, зато мы как граммофоны вертели свои плоские души, читая наизусть жаркие футуристические Его Стихи—

Пусть иные—чуткие—редкие друзья поднимались до близости к Поэту—не все ли равно—и друзья—как и все чужие—оставили Поэта жить одиноким и несогретым.

Лань, ты вольнее коня—
Огневее огня—
Ярче лета—
Как и все ты покинешь меня
И оставишь без счастья
Поэта.
Ах лань моя быстрая
Искрая лань.

(Девушки босиком)

Даже девушка—лань, полюбившая Поэта, уйдет от Него и это Он чует, большее: девушка—лань—единственная от кого Он желая чудеснаго спасенья, любви, ответной Красоты и мудрого утро-

зарного покоя—она уйдет от Него, потому что придет не ради Него, а ради только себя.

Так приходили все.

И только редкие экземпляры чудаков приносили Ему случайныя беззаветности ради Поэта и уходили так странно—незаметно, что Он неуспевал их поблагодарить за вдруг неожиданное.

Я помню один чудак в Ялте после лекции—вечера Поэта притащил Ему в огромной стеклянной банке лучистую чорно-жолто-голубую морскую рыбу и сказал:

— Возьмите рыбу—она ночью светит и гудит—я ей все ваши стихи прочитал и теперь ее можно отпустить.

Я подумал о ея вкусности.

Он ночью утащил рыбу на берег и там до рассвета разговаривал с ней, а потом нырнул в море и там ее выпустил.

Два дня Поэт грустил по рыбе.

Куда девался чудак и где он достал рыбу-неизвестно.

Мильонерша Соловьева (тоже в Ялте—1916) поднесла Поэту веник из колючих ветвей крымского кустарника и во время лекции гоготала как гусиха, а Он непонял капиталистического остроумья никогда нежалевшого на искусство тратить кухонные принадлежности.

Когда же ему объяснили злое подношенье Поэт кратко ответил:

— Мне ничуть необидно: пусть для мильонерш это веник—для меня это—горная зелень апрельскаго склона Ялты, а вот то что эта барыня бездарным смехом мешала читать—было больно.

Однако вскоре эта барыня извинилась за гру-

бость, и наговорила Поэту массу любезностей ненужных и мимо-непонятных.

И таких барынь было немало.

И все они были глупы, наглы и богаты.

Впрочем какое дело Поэту до барынь с брильянтами в ушах и с изопрелыми мозгами в дряблых головах.

Вообще—какое дело Ему до всех—кто плюет в глаза солнцу—кто богохульствует—кто разрушает культуру—кто смеется над футуризмом - кто гонит поэтов—пророков.

Он—только Гений.

Его светлошолковые кудри на высоком лбу—всегда в ветре вершины Вечности.

Его глаза цвета утренняго моря смотрят всегда из стана Грядущаго.

Он обладает тем сверх—зреньем, которое открывает завесы иных постижений иного мира.

Он видит межпланетные пространства и он видит разделенье фосфорических волн движущагося по листку светляка.

Я—же смотрю как все и мне кажется—что я и все—слепые черви.

Мы видим хорошо только то, что нужно жрать нашему брюху—иногда видим друг сомнительного друга—и тупо видим только себя—свое—для себя.

А Он—только Гений и мы дадим Ему все возможности сгинуть.

Он—не—бефштекс—Он нам ненужен.

Его гениальность пугает нас своим возбужденьем.

Он—фантазер—слишком требует от нас свободного Духа во славу революции Духа, а наше дело было и осталось делом революции Тела.

Он—сверх—анархист.

Политическую свободу—основанную на власти и подчиненьи—высокую заработную плату—самоопределенье национальностей—условное разоруженье—волонтерство—всю эту революцию Тела—стройный порядок организма—купеческий покой вкусно нажравшихся Он непризнает, непринимает.

Он требует творческого разгула вольного Духа—трепетного горенья—лозунгов пролетающих мыслей—проявленья стихийного Разума—прославленье божественной Личности—творчества во имя творчества—слиянья всех народов мира—перенесенье крупных городов в Природу—грандиозное развитье воздушного сообщенья.

С колоколен Современности Василий кричит нам лозунги:

— Карнавалы Поступи Культурных достижений.

— Чудес—больше чудес Искусства.

— Праздники Открытий.

— Долой борьбу за существованье—не в брюхе счастье жизни—брат накормит брата щами и кашей и даст дружеский кров—все есть.

— Да здравствует борьба за бога внутри каждого—за рассвет дарований—за выявленье всех возможностей.

— Пьедесталы на площадях—куда должны ставиться на час или два гении, чтобы все видели и слышали Живых, а не чугунных после смерти.

— Бей каждый в колокол своей Души, чтоб в хороводном перезвоне услышать алошелковую ленту Гимна торжествующего духовно Человечества.

— Напряженье высшего мастерства.

Признанье футуризма Первым Истинным Искусством.

— Каждый взлет во славу Молодости.

— Энергичное биенье Пульса Дня во всей Красоте Совершенств.

Давайте взнесем свои
Легкие головы
На Отчаянное Высоко.
За Песнями с Песнями.

(Девушки босиком).

— Да здравствует конференция Гениев всего Мира.

Его Музей.

Его музей на Каменке.

Это конечно не третьяковская галлерея-кладбище и не Лувр-склеп и не раскопки Помпеи-Геркуланум-Стабия.

Его музей ценнее—здесь вещи живут, смотрят слушают, знают, Его вещи одухотворены Поэтом.

Этот музей—в сосновом доме на горе—в верхнем этаже в просторной комнате Его.

Есть еще вещи и в других комнатах, но мало.

Этот музей охраняют кругом высокие сосны да солнце.

Когда то музей даже был застрахован в Волостном Правленьи в три тысячи: старшина с писарем оценили музей, как кухонную посуду (и то хорошо).

Если случайно сгорит музей—Поэт с последней болью посмотрит на пепел и тихо уйдет—все прямо—дальше, чтобы невернуться.

Он создал свою кумирню-хижину с великой любовью религиозного фанатика, когда скитаясь по свету Он вдруг находил ту редкую вещь, которая находила Его.

Незримая, но глубокая нездешняя связь рождалась между нами: Поэтом и Вещью.

Разве небывает так, что в жизни проходишь мимо тысячи вещей и незамечаешь их, но одна вещь вдруг остановит и посмотрит родными близкими глазами и захочется ее взять, приобрести или чтобы подарили.

Это бывает со всеми.

Но когда Поэт встречается с вещью—Он постигает иное: ее душу, ее обвеянность прошлым, руки и мысли тех, кто прикасался к ней с любовью и вниманьем.

По вещам Поэт находит друзей — ушедших — переселившихся в другое воплощенье вселенной.

Вещи открывают ему тайны и знанья, мысли и глаза.

Будто друзья окружают Поэта вещи музея, сообщая Его сознанью свою сущность не от мира здесь.

Керамиковый цветной глазури верблюд, серебреные с камнями кольца, пестрые чулки, подножники коврики (для молитвы), платки, янтарные чотки—все эти вещи привезены Поэтом из Турции (1902 и 1906)

Старинные иконы—живопись на полотне, дереве, медные с эмалью складени, чеканного серебра ризы, лампады, цепи, книги, парча,—это собрано по России всюду.

Есть деревянныйангел из Архангельска—соловецких обителей, светильник и ладан из Ерусалима.

Чайные чашки, тарелки, шолковые вышитые цветами платки—шали, убранства, ларцы, серьги, набойки, —все это русской старины.

Есть украшенья из раковин и кораллов дикого племени дагомейцев: Поэт встретил одно семейство в 40 человек в Милане (1911).

Всего же больше вещей персидской древности: кувшины, подносы, чаши (медь с серебром) резные, всякое оружье—резное с золотом, стеклянные с эмалью кальяны, ковры, миниатюры—живопись—графика—книги, набойки, платки, кольца, музыкальные инструменты.

Многое из персидского куплено на Кавказе, много подарено в России.

Есть замечательная кукла — богатая персианка с семью косами,—подаренная принцессой Туран (в Тифлисе) дочерью Меджид Салтане Ардашир хан Афшира.

Из Персии Поэт (1906) привез украшенья и занавески—цветные парча из гаремов.

В Париже—Лондоне—Берлине Поэт у антикваров накупил всяких вещиц (1911).

Во время гастролей Крымской весны (1916) Поэт приобрел много татарских вышивок серебром, камней, пряжек, мелочей.

У Него есть кистени и печоночные ножи найденные в пещерах жигулевских гор времен Стеньки Разина.

Еще много китайских, японских вещей и все это среди живописи всего дома от полу до потолка и на потолке.

Среди известных живописцев есть: Давид Бурлюк, Малявин (5 цветных рисунков с Поэта), Малютин, Аристарх Лентулов, портрет и рисунки), Гауш, Влад. Бурлюк, Борис Григорьев, Гончарова, Ларионов, Валентина Ходасевич, Ольга Розанова, Петр Субботин—Пермяк, Кульбин, А. Яковлев, Вас. Денисов, Н. Гущин, В. Воинов, И. Грабовский. Реми и др.

Среди малоизвестных—Его краски (еще невыставлявшиеся).

Имеется библиотека, в книгах которой много книг с надписями авторов, много—автографов—писем знаменитостей—друзей.

Есть кустарное искусство: игрушки, бураки, прялки, полки, чашки, ложки.

Коллекция детских рисунков и много разных вещей,—подарков,—на камине Каслинскаго литья.

И тут же—в музее Поэта—мои вещи: моя кожаная каска авиатора (привез из Парижа), орудия убийства,—защиты и охоты,—и вещи вносящие беспорядок: грамофон, кресла, шкуры, лампы, сапоги, карточки.

Порядок в музее—идеальный: здесь живет своей жизнью каждая вещь и в них—Поэт.

Поэт говорит с ними, переставляет, курит им сигары, ладан, свечи восковые, а по вечерам перед стеной икон зажигает цветные лампады, иногда—в холод—топит камин—сидит на турецком коврике,—и некоторые вещи—кому священен огонь,—ставит около себя.

Он знает желанья вещей.

Он—Иог—мудро проникает Своей Волей в духовную сущность бытия там—где начинается Материя—создавая миры—Землю—Человечество—Культуру—Футуризм—и где кончается каждое Переселенье Души, растворенное Вечностью.

Клык мамонта дилювиального периода ледниковых отложений, найденный где нибудь в средней Азии, или представленье библии Хаоса—первичного зачатия мира, или жизнь микроорганизмов, вносящих малярию через укушенье комаров, или высший расцвет арабской поэзии до появления Магомета, или гальванизированное железо цинковым слоем от окисления, или небесная механика движений в солнечной системе—следствие закона всемирного тяготенья (Ньютон), или мифология древней Греции, или наконец Пульс Культурного Человечества и

Пришествие Футуризма—Это ли не Музей Духа Его, в котором Он пребывает от Начала до Века, концентрируя в Себе океански притекающие реки познаний.

А вещи Музея на Каменке—на горе—охраняемые солнцем да соснами—не есть ли воплощенные следы Музея Духа, которые указывают уже пройденный путь какого нибудь звена Минувшого или Настоящого.

Не есть ли Поэт—собравший в свою часовню соснового покоя вещи—Иог—Жрец—фанатик совершающий Свой обряд священнодействия.

Не есть ли Поэт—одна из более живых вещей Музея Его, странная вещь, напоминающая людям искусственное солнце.

Не вещи ли Его пусть сами лучше расскажут Биографию Поэта, а вся Его комната жизни на Каменке не лучше ли меня откроет истинную душу Его творчества.

Смолистые сосны кругом да поля в горах дополняют поэму Его Дней—здесь.

Когда нибудь Каменка станет Ясной Поляной и —люди друзья—чудаки—девушки поймут, что гнездо улетевшей Птицы было свито руками гениального Поэта Чудотворца.

Я же—только сторож дверей Его святая святых и эту сосновую Часовню я готов открыть всем желающим увидеть Его Музей—на Каменке, всем желающим отдохнуть на высокой горе созерцанья.

Я живу дома летом (май—июнь—июль)—в остальное время года прилетаю налетом.

Я всегда жду гостей—и гости приезжают.

Я жду—пожалуйста.

Стенька Разин.

В мае Поэт вернулся на Каменку один—без Фани—она ушла домой, чтобы осенью уехать на курсы.

И снова я вольный
В вершинах распластанный
Горноуральский орел
Над Судьбой.

Все к—лучшему.
Дальше.
Поэт задумал написать давно заветную книгу—роман Стенька Разин.
И чтобы раздольно вдохновиться по истинному, по весеннему, по расцветному—
Чтобы Волга от Жегулевсхих гор до Астрахани разливалась ярче по Душе Поэта и легкими, крыловейными носились бы ветровые мысли о Стеньке Разине —Поэт сел на пароход в Перми и уехал в Астрахань —работать в дороге, в движеньи, в разгуле.

И работал отчаянно, стихийно, буйно, запойно, и неработал—а пел, кричал, звал.

В дороге и на остановках под Жегулевскими горами, в Астрахани—Поэт писал на клочках бумаги, на телеграммах, на носовых платках, на конвертах, на бересте, на полях газет.

Зажженный пламенем великой идеи—дать всю сущность русской Души, всю урожайную талантливость, всю буйную Волю, всю народную Мудрость - в едином Стеньке Разине, чей Единственный образ веками живет в нас—безпредельно любящих свободную жизнь—Он развернул все Свои творческие силы без остатку и так от искренняго сердца, что задыхался от прилива песен и размаха.

Работа сияла солнцевстально.

Весенняя Волга помогала разливно-гордо.

Из Астрахани Поэт заехал в гости к звучальному другу Лиде Цеге в Пензу: с Соней и Жоржиком она жила в лесу, на даче.

Славно и там было писать среди веселой, звонкой дружбы.

Лида Цеге—современный композитор—играла Поэту Свои яркие вещи, а Соня и Жоржик радовали затеями.

Поэт возвратился на Каменку счастливым: Стенька Разин почти был закончен.

Здесь Он еще с высшими силами окружающего горного покоя стал напряженно работать и к концу лета роман Стенька Разин был готов.

Я охотился, жег костры, хозяйничал, затевал всякие дела.

Поехал в Пермь к нотариусу в во владенье Каменкой ввел на равных началах Алешу, Петю, Соню, чтобы больше нечувствовать себя самодержцем.

Ведь по существу ни мне, ни тем более Поэту никогда ничего небыло нужно,—напротив—я всегда горел желаньем отдать, помочь, откликнуться, встрѣтить.

И всегда совершенно беззаветно.

И даже тогда, когда мне платили жестокой, грубой неблагодарностью, я не осуждал, не сердился, не мстил, а только преклоненно слушал великие слова Поэта:

— Уйдем дальше.

И часто Поэт на крыльях освобожденья уносил меня совсем далеко: еще неуспели смолкнуть в обиженном сердце недавние недоразуменья, а сегодня глаза мои смотрят откуда нибудь с Ай-Петри в долину жизни и нет берегов величественному созерцанью.

Что—суета для Стеньки Разина.

Что—мелочность для Поэта.

Раззолотилась грустинная осень—ласковый друг одиночества—по звездным ночам в небе перекликаются перелетные птицы.

Поэт стал видеть южные сны.

Я решил ехать в Москву и там немедленно заняться изданьем Стеньки Разина.

Уж слишком сгустился гнилой мрак царящей кошмарно реакции, будто все задохло творческое, утрозарное, свободное, будто все боялись проявить свою волю,—а Стенька Разин—народное солнце Свободы—любимец буйной молодости – рыцарь чудесных песен—Он ли немог напомнить друзьям о своем Победном возстаньи за долю молодецкую.

Небо Давида Бурлюка.

В Москве осенью я сейчас же энергично взялся за изданье Стеньки Разина.

Печатала типография—Культура—К. А. Мисиеровой, Мерзляковский—где нежным вниманьем мне много упростили труд.

Напролетные ночи я сидел за корректурой.

А Поэт вечера проводил в открывшейся (на Кузнецком) Башне—Студии театра друга Поэта Сам. Вермеля (автор—Танки—хризантемно—сексуальных стихов чайных домиков в Нагасаках), здесь постоянно бывали: Ар. Лентулов, Н. Рославец (сверх—композитор), Дм. Варравин—Поэт, И. Машков.

Здесь под чтенье стихов Поэта ученицы и ученики парами ритмически танцовали (словопластика) и разыгрывали пантомимы С. Вермеля.

Здесь Поэт прочитал публичный трактат—Чугунолитейный Давид Бурлюк—где исчерпывающе выявил творчество Своего Великого Друга.

Вот несколько справедливых строк из Его трактата:

Давид Бурлюк—символ Эпохи Перерожденья Искусства Мира, Он—тонкий философ—сатирик Современности, мудро, светло и победно улыбающийся сквозь Лорнет вслед ворчащим богадельщикам от академии, Давид—Поэт чугуно-литейного лаконизма, умеющий поставить знак равенства над всем Карнавалом лозунгов футуризма. Его творческая пародоксальность, динамичность, конкретность. Его слова и неожиданные краски, Его культурный фанатизм—создали Ему мировую славу—Открывателя. Его Имя стало сигналом Новаго, Смелого, Первого, Вольного, Гениального. Воистину Давид Бурлюк—фельдмаршал мирового Футуризма.

(Из книги—Давид Бурлюк)

Практат Поэта завершился чтеньем стихов Давида Бурлюка и восторженной телеграммой Ему в Иглино (около Уфы) где Он зимовал.

Давид Бурлюк—любимейший друг Поэта.

Ноябрь ознаменовался вылетом Стеньки Разина.

Поэт возсиял бурно, расцветно.

Книга смотрела глазами Стеньки Разина.

Друзья встретили звонкой встречалью: потащили Поэта в кабак праздновать книгу, чокались сочно, радостно.

Аристарх Лентулов с Марией Петровной (жена) С. Вермель, Кожебаткин (известный издатель) пировали с Поэтом дружно, светло, молодо.

Книга пошла стремительно—в три недели все изданье было распродано.

Молодежь, студенты, курсистки искали случая увидеть Поэта, чтобы сказать Ему свои благодарные, взволнованные чувства.

К Поэту приходили группы молодежи Донской, Волжской стороны с трепетной просьбой—написать что нибудь на память от автора на принесенной книге

Стенька Разин, толковали с Ним, клялись Ему стать на борьбу за молодецкую Волю.

Благодарили горячо за то, что в чорные ночи царизма они почуяли себя озаренными чудесными силами борьбы и победы за Свободу.

И поклялся сам себе Степан на солнцевстальной заре положить на плаху свою кудрявую буйную голову за святое дело Народа, за жизнь молодую, раздольную, братскую, равную, за вольную Волю, за урожайные отчаянные песни, за удальство молодецкого бунта. Сарынь на кичку.

(Стенька Разин)

И вот теперь—Сегодня—когда сбылись великие затеи Разина — Поэт обращается к Нему приходившим—с дружеской благодарностью за горячие клятвы, приветствия и кричит:

— Друзья Свободы Народной,—необходимо немедленно на вершинах Жигулевских гор в память Стеньки Разина воздвигнуть (требуйте) на деньги государства—дома—башни—вышки, чтобы там основать молодецкое жилье во славу творческую, талантливую, футуристическую, вольную.

— Друзья Свободы Народной,—давайте там—на Жигулевских горах жить—кто любит истину Красоту: простор, высокие горизонты, костры, разгул, песни, затеи, работу Искусства.

Пускай пассажиры проходящего мимо по Волге парохода Современности видят и чуют, что Стенька Разин оставил в городах достойных удальцов—друзей—чья жизнь развернулась яркоцветной легендой Дней,—чьи гениальные головы переполнены чудесами.

А лозунги вот:

— Бунтуй за океанскую волю.
— Раздувай вихрем Паруса в солнце.
— Ешь денечки как ягоды.

— Ломись, свисти, при, нажимай.
— Высоко заламывай голову.
— Раздавайся в раздолье.
— Мотайся в безшабашном величии.
— Веселись во всю колокольню.
— Песнепьянствуй.
— Хватайся за волосы вершин.
— Пой и реви и славь молодость.
— Жить один раз—все единственно.
— Вей, разливайся, раскачивайся душа.
— Пляши сердце.
— Раздобырдывай агалма-турма-мурра.
— Рраз оборвался в Волгу чурбан твоя мать.

(Стенька Разин)

Поэт совсем закружился со Стенькой Разиным: всюду везде Его звали читать стихи.

Он едва успевал.

То он читает среди гостей у Лентулова, то—у В. В. Лабинской—в салоне которой собирается публика Искусства, то—у Е. П. Кудряшовой—где Поэт встречает много светлого вниманья, то—у С. Вермеля в кругу друзей, то—в литературном—в семье букв, то часто где нибудь на женских медицинских курсах, вечеринках, у студентов, в столовках, на заводских сценах, в театрах.

Или появляется в Летучей Мыши—где Н. Ф. Балиев дружески встречает Поэта остротами со сцены.

В Летучей Мыши ставилась инсценировка Поэта из Стеньки Разина—песня персидской принцессы Мейран.

По какому то благотворительному случаю в инсценировке персиянки Летучей Мыши читала Л. А. Ненашева, а под стихи танцовала Холодная.

Л. А. Ненашева чудесно читает персиянку Поэта всюду с эстрад, читают также Его стихи еще многие артистки и артисты и Поэт всегда остается сердечно тронутым вниманьем товарищей.

К рождеству Поэт уехал в Петроград.

И конечно сразу же очутился в штабной квартире петроградского футуризма у друзей Лили и Оси Брик (на Жуковской) а там встретил Маяковского, славную лэди Эльзу (сестру Лили), Хлебникова, Шкловского, Рюрика Ивнева, Ховина,—радиоктивная компанья Нью-Иоркских замыслов.

Цитадель.

Директор—О. Брик.

Кассир—В. Маяковский.

Здесь Поэт встретил 1916 год сочной, виноградной, как выдержанная мадера, речью.

Глаза друзей блестели ярче, чем комнаты, иллюминованные фонариками.

Маяковский гремел гениальными стихами.

Все были накануне Чуда Слова.

Электрическая насыщенность дружеских душ увеличивалась нервным предчувствием грядущей революции, т. е. того великого смысла футуризма, во имя которого возникло возстанье творческого Духа.

Острая, как бритва молнии, и образновыпуклая, будто Эльбрус, поэзия Маяковского в Его упоенном исполненьи всегда производила сокрушительное впечатленье.

Камарджоба—салами—Мээ.

(Маяковский, знающий грузинский,—это поймет. Мэ—гиноцвали).

В Петрограде Поэт виделся еще с Алексеем Ремизовым, Вс. Э. Мейерхольдом (вспоминали Николаев), Н. Н. Евреиновым, Н. И. Бутковской, Т. В. Жуковской, Фед. Сологубом, (гостил на елке, на именинах А. Чебатаревской) Н. А. Тэффи (у Н. А. Поэт бывал всегда на ее синих гостеприимных вторниках).

Критика встретила Стеньку Разина ярко-классово.

Торговая пресса шумнословно разносила автора вместе со Стенькой Разиным (принципиально по черносотенному).

Одно Новое Время двухаршинной статьей (под заглавьем—Матерый Сын) доказывало явный революционный вред книги и автора, называя Стеньку Разина мерзавцем-анархистом.

Демократическая пресса (особенно учащихся и провинциальная) торжественно поздравляла читателей с великой книгой.

Н. А. Теффи (Журнал Журналов) написала горячую, светлую, глубокую статью о книге Стенька Разин. Она заявила что это—даже не книга, а нечто большее, потому что она не просто читается, а горит, бьется в взволнованных руках, вызывая на иную судьбу—жизнь понизовой вольницы, величественного размаха за други своя.

Н. А. Теффи—единственная, кто так искренно и смело-открыто в печати восславил идею автора в чорные дни—когда все другие боялись показать себя перед жандармами вольнолюбивыми.

Зато Новое Время снова взялось за автора Стенька Разина, грозя Ему нагайкой и перекладиной за бунт против царизма (в книге возносится хвала Стеньке Разину за святое дело сверженья царя и князей).

Н. А. Теффи—да здравствует.

Ведь книга Стенька Разин родилась Чудом в дни мировой скорби, когда душа истосковалась по вольной воле, а сердце устало биться без творческого смысла.

Стенька Разин расцвел желанным Солнцем на небе литературнаго безвременья и жалкой трусости.

Эта книга дает генинальное выраженье сущности всенародной любви к своему великому безсмертному герою Степану Разину, выявляя его утрозарным борцом за Волю.

Эта книга—стихийное творчество.

Ужас русской критики всегда заключался в тупом неуменьи найти истинную книгу.

Поэтому критика никогда непользовалась уваженьем и даже нечиталась.

Из Петрограда Поэт уехал в Пермь, погостил у милого товарища Клани Безсоновой, взглянул на зимнюю Каменку и вместе с другом Своим Володей Гольцшмидт уехал в Крым читать лекции о футуризме, об Утвержденьи Свободной Личности и Свои Стихи.

Критик.

Знаменательно.

Только один из всех критиков Его Творчества—это Борис Гусман—в статье Василий Каменский чутко резко разделил Его на два лица, на два берега.

Опьяненный буйной радостью Земли Василий Каменский, под неумолчный говор леса, распевает на приволье волжском свои разбойные безшабашные песни,

Как будто два лица у Василья Каменского.

Одно—нежное, любовно-грустное, обращенное к „листочкам-шелесточкам", „волнинкам", речушкам-дразненкам", говорливым „журчейкам",

Другое—злобное, обращенное к пришельцам из города.

И два голоса у него.

Один гибкий и ласковый, как шептание веток между собой, нежный и звонкий, как голоса любимых птиц (землянка).

Другой—зычный, острый и резкий, как лезвие кривого татарского ножа, который он носит за поясом (Стенька Разин).

Старый разбойный клич „Сарынь на кичку!“ ожил в жестоких, суровых строчках Василья Каменского, ушедшого от людей в угрюмые дебри лесов, где так чудесно качаться на широких ветках сосен, видя над собой зеленые глазочки звезд.

Раскинул ловок и хитер
Я на сосне шатер!

И дальше:

В четыре пальца просвищу—
Шарахнется сова,
Забьет крылом.

Этот грозный, молодецкий свист в четыре пальца, от которого дикий ужас объемлет лесных обитателей; и крик, разбойный, могучий, от которого стынет кровь у прохожаго по лесной дороге—вот что заменило ему слова.

И как непохож этот Каменский—дикий, лесной—на того который нес в своей душе такую нежную грезу об Утреннем Озере.

„Да, есть Утреннее Озеро—это здесь розовые лебеди собирают росинки-радостинки и потом, в предрасветный час, превращаются в туманы и плывут по раздольным лугам.

Да, есть Утреннее Озеро—это сюда спускаются голубокрылые Ангелы Радостей и собирают слезы Счастья, а потом уносят их к людям“!

Но эта разность, непохожесть только кажущаяся.

Василий Каменский ведь за то и упрекает людей, что они растеряли на пыльных панелях улиц эту радостную мечту об Утреннем Озере.

И его голос резок и груб только потому, что люди нехотят слышать его радостного голоса.

Любите, любите, как любит вас Солнце.

И вечная радость Земли.

Эти два голоса—один нежный и радостный, другой грубый и зычный сливаются в один—мощный и выразительный, зовущий нас к вечной радости солнечной Любви.

И эти два лица—одно умилённое и любовное, другое—злобное, полное ненависти—сливаются в один лик русокудрого, небоглазого поэта Земли--Василья Каменского.

(Борис Гусман. Журнал—Очарованный Странник.)

Лекции на Ай-Петри.

Снова Крым—Ялта.

Горы, бирюзовое море, корабли, тишина.

Февраль,

Розово женственно цветут яблони, миндаль.

Солнечно приливает весна.

Начался большой съезд.

Я с Володей Гольцшмидт сняли одну квартиру в Ялте, другую—в Новом Симеизе, в вилле Дельфин.

В Симеизе удобнее, ярче, интереснее жить и мечтать Поэту.

Мне же и футуристу жизни Володе для организации лекций необходимо иногда жить в Ялте.

В Симеиз ездили на автомобиле — это довольно дорого, зато скоро, красиво и безшабашно: уж все равно были готовы к тому, что много заработаем и еще больше проживем.

Я никогда неумел жить экономно, напротив—привык жить широко, безпечно, свободно, размашно.

Часто так, будто живу последний день, пью предпоследнюю чарку вина.

И я свой кубок поднимаю
И улыбаюсь друзьям, врагам.
Куда я еду—сам незнаю
К каким пристану берегам.
(Девушки босиком.)

И пусть эта безпечность иногда заставляла огорчаться и досадовать на безденежье—эх, зато одних воспоминаний—еще неуспевших отзвучать—было достаточно для утешенья, а иногда необходимо—для отдыха.

Впрочем, в крайностях был виноват всегда Поэт, неудержимо влекущийся к пропасти, безумию, гибели.

Развернувшимся душам ненадобно
Меркантильных устройств:
Все равно на земле все разгадано
Весь исследован штат Иллинойс.

В ялтинском курзале состоялась первая лекция Поэта, вызвавшая энтузиазм весенних гостей.

Поэт призывал:

Гости Крыма! Будьте взрослыми детьми, возьмитесь за руки идите к морю, идите в горы.

Слушайте музыку прибойных волн Вечности.

Слушайте перезвучально-разливное пение птиц вокруг, слушайте сердце свое в созерцании—поймите песню жизни своей творчески вольно.

Радуйтесь. Смейтесь. Любите.

Горите яркими огнями возможностей. Ищите в себе новых откровений.

Бегайте весело. Пойте песни, читайте мои стихи— (Василья Каменского). Произносите тосты, поднимая полный бокал фантастического вина за звонкое счастье — красиво, свободно жить.

Трава и камушки, птицы и небо, море с медузами, дельфинами, чайками, и все люди вокруг—да будут верными друзьями вашими.

Гости Крыма. Здесь в солнцеисточнике черпайте силы свои для творимой легенды дней Здесь в бирюзовом воздухе гор и море купайте души свои, чеканьте хрустальность восприятия красоты Крыма.

Главное — удивляйтесь больше, удивляйтесь всему на свете существующему чудесно, славьте вольнотворческие размахи, торжествуйте опьяненные яркоцветностью. Ждите от удивлений возрождения Духа. Вставая утром рано идите в жизнь как на желанный праздник. Помните вы гости Крыма и это ваше дело ответить на разлитую красоту вокруг—красотой своей поющей души.

Чаще всходите на вершину Ай-Петри, чтобы оттуда с орлиной высоты взглянуть на мир глазами мудреца, постигшого все величие и всю простоту жизни для жизни. В запахе роз и магнолий, в полете птиц, в солнцецветении, в пышном пространстве, в вольных дорогах и в каждом из гостей Крыма—ищите отражение своих желаний встретить истинный смысл устремления — вот как солнечно надо жить в Крыму.

Поэта засыпали цветами, подарками, приветами.

А когда Он читал из Стеньки Разина — ураган апплодисментов долго носился по театру.

Чуялось, что молодежь жаждет свободных дней.

Ряд других лекций Поэт читал вместе с Володей Гольцшмидт—в Ялте—Алупке—Симеизе.

Всюду с весенним успехом.

Знаменитые гости Алупки—артистка Алиса Коонен и А. Я. Таиров (создатель Камерного театра) удивлялись радостно, слушая как по аллеям дворцового парка Поэт и Володя, гуляя пели:

Эй невесты—девушки—сестры
Братья—друзья—женихи
Поднимем бокалы за вольную молодость
Выпьем вино за стихи.
(Девушки босиком)

На протяженьи 20 слишком верст по шоссе—начиная Ялтой и кончая Новым Симеизом всюду красовались наши футуристические афиши о лекциях.

Мы были закружены девушками и юношами, вызывая зависть и ревность у тоскующих пузанов, которым непомогала смена костюмов, даже непомогли (благодаря новой большой статье в Новом Времени о вредном пребывании Поэта в Крыму) откровенные доносы в полицию о явной революционности футуризма—вот где была сила буржуазии.

Много раз нас вызывали в полицию и с великими хлопотами через влиятельных лиц едва разрешали снова читать лекцию с условием—без стихов Стеньки Разина.

А Поэт неудержался—читал и славил вольные идеи Стеньки Разина—и лекции совершенно запретили.

Вообще во все кошмарные времена царизма Крымом—лучшими местами—владела жирная княжеская аристократия и ее лакеи—буржуазия и еще полиция.

Наглость произвола этой царской компании доходила до запустенья мерзости.

Демократическая—свободных профессий—часть преследовалась палачами жестоко.

Евреев здесь гнали, как чумных собак.

С политическими — если попадались — расправлялись зверски.

Ливадия действовала.

Что то там теперь: неужели до сих пор неполь-зуются больные рабочие и беднота.

В Ялте Поэт часто бывал у знаменитого композитора П. И. Ребикова, слушал его музыку и бодрые яркие мысли о творческой звучальности, о шумовой гармонии.

Бывал на даче Чехова в гостях у гостеприимной славной Марии Павловны (сестры Антона Чехова), читал там в Вишневом саду стихи гостям, среди которых были—нежные почитательницы Поэта—Ирина Шаляпина (дочь Ф. И. Шаляпина), Катя Альтшуллер, брат А. П.—Михаил Павлович и постоянная молодежь.

Поэт за-просто бывал на даче Крестинских—где собиралась веселая молодая публика: играли, шумели, пели, читали, спорили, горели, гуляли.

Вообще в Ялте жизнь текла бурно: катанья верхом, рестораны, вино, чебуреки, фрукты, приключенья, кофейни, встречи.

Зато в Симеизе—полный отдых на цементной крыше пансиона Дельфина (арабский стиль) или—на идеальном пляже у скал Дива и Монах—солнечные волны.

Я—Поэт приехал с Камы
С мечтами грандиозными
А около купаются две дамы
Приучаясь быть грациозными.
Над головой чайки веют

Развивая мою музыкальность
Дамы знают меня—но несмеют
Поверить в мою гениальность.
(Из ненапечатанного).

В Симеизе—бирюзовая тишина, четкость линий гор и белых вилл.

Чудесный мальцевский парк в розах.

Публика чопорная, важная, а всем так побаловаться и хочется.

Разлетевшимся соколом с Камы
Я пригнал солнцезарно скитаться.
Улыбайтесь симеизские дамы—
Вам так идет улыбаться.
(Из ненапечатанного).

Володя Гольцшмидт восхищал Поэта рыцарской спортивностью: нырянием на дно большой глубины, хватая за хвосты блинообразных скатов.

В мае приехал в Алупку Аристарх Лентулов с женой, привез с собой только вышедший в Москве большой роскошный с цветными репродукциями журнал—Московские Мастера,—где были стихи Поэта и Его повесть—Зима и Май.

(Издавал С. Вермель—у Левенсона).

Московские Мастера—книга—шедевр.

Один из замечательно ярких дней, проведенных Поэтом у моря,—был день—когда он с Лентуловым верхом уехали на Ай-Петри.

На огромной высоте всадники въехали в густые холодно-влажные облака, а с чистой солнечной вер-

шины была видна внизу кругом над Алупкой сплошная масса плывущих облаков, будто шло гигантское стадо белых баранов.

Картина напоминала хаос мирозданья.

С Лентуловым ездить по горам приятно: всюду лезет в головокружительные места.

В Стране Нарзании.

После крымской весны 1916—многих лекций—выступлений со стихами—Поэт в мае вернулся на Каменку с гостьей—товарищем Лидой из Ялты—светлой, утренней птицей из гнезда Яйлы.

Лида прогостила две недели среди сосен Каменки и улетела домой, к морю.

Поэт работал над новыми стихами: закончил большую поэму в стихах—Моя Карьера, написал несколько статей по истории футуризма, о Давиде Бурлюке, В. Маяковском, А. Крученых, Хлебникове.

В эти дни Ему особенно хотелось горячо видеть своих друзей на Каменке: почитать стихи, пооратор-ствовать об Искусстве, пофилософствовать о жизни Поэтов, помечтать о изданиях Своих книг.

На Каменке были все в сборе: Алеша с Марусей—с Лелькой, Соня, Витя, Саня, Тася, Фая и племянница Поэта Маруся Кибардина.

В средине июня Володя Гольцшмидт затеял в Перми лекцию о футуризме на бульваре, в новом Собраньи, которое сдали нам для открытия Нового зала.

Лекция прошла успешно: наполнила только молодежь.

После лекции Поэт разом решил ехать на Кавказ, в Кисловодск.

Сел на пароход.

Володя Гольцшмидт проводил футуристически: он отъехал от пристани на пароходе вместе с Поэтом, а на средине Камы попрощался с другом и в костюме бросился в воду вплавь—пить кофе домой—и еще успел вытащить в воде из кармана платок и помахать.

Поэту очень понравилось (спасибо Тебе Володя за всё на свете заботливое.)

Публика конечно была в ужасе: плоские головы осудили Молодость, Пермские газеты выругались—зачем нарушать порядок установленных (полицией что ли) проводов.

Ах эта могильная тьма всяких пермских газет—безграмотное общество интеллигентов, союз плюющих на Вольность неудачников.

Чорт с ними.

Какое до них дело Поэту—чьи небесные глаза цветут на Пароходе Современности.

Сердце звенит песней пролетающего.

Крылья хрустально-шелково шелестят.

В Кисловодске Поэт снял большую комнату с террасой у милых хозяев Зажницких.

Скоро приехал в Кисловодск Володя Гольцшмидт и начались гастроли—лекции.

Пятигорск—Кисловодск—Есентуки—Железноводск.

Газета—Кавказский Край—яркого журналиста Петросяна встретила Поэта праздничио культурно.

Петросян—армянин, истый демократ вольной широкой души.

Другая газета—Пятигорское Эхо—отнеслась к гастролям тоже внимательно, но сдержанно—по стариковски.

Гастроли всюду одна за другой стали повторяться, обвеянные крупным успехом.

Спрос на книги Василья Каменского достиг великих размеров, но все изданья уже разошлись давно и я—Его издатель—этому радовался, а тут загрустил: книг Его небыло.

Поэта замучили записываньем стихов с Его слов, особенно нравились: Железноводская лань, Полет, на Великий Пролом, Стенька Разин, Персидская, Крым, Кисловодск, Соловей, за Вольную Молодость.

Отрывки из поэмы—Моя Карьера—знали и читали очень многие.

О ты судьба моя Поэта
Искусства русского артиста.
Ты слишком оперно воспета
Моя карьера футуриста.
И я нежалуюсь на Пермь свою—
На Каме трудно жить Культуре
Ведь все равно я первенствую
В Российской литературе.
Поэт—Мудрец и авиатор,
Помещик—лектор и мужик,
Я весь—изысканный оратор,
Я весь—последний модный шик.
И ты цвети—Моя Карьера
Я неустал еще чудачить
Ведь—знаю—скоро для примера
Я от людей уйду рыбачить.
И где нибудь в шатре на Каме

Я буду сам варить картошку.
И—засыпая с рыбаками—
Вертеть махорочную ножку.
(Девушки босиком.)

Поэту на сцене подносили цветы, подарки, дорогое вино.

На лекциях перебывало народу тысячи.

Среди публики было очень много артистов Искусства приветствовавших Поэта.

Тогда Он встречался с М. Комаровой, Н. А. Тэффи, Дальским, Балиевым, Гнесиным, Рахманиновым, Качаловым, Гельцер, Дуровым, Сытиным.

Друзьями Поэта были девушки и вся молодежь.

Этот сезон блестяще показал Поэту и его друзьям, что—Василий Каменский—одна из вершин кавказского хребта Мирового Искусства и что имя Его взнесенно, Крыловейно, раздольно, напевно.

Это говорю Я—вдохновенно и гордо. Его корабль, носящий Поэта по океану скитаний.

Каждую секунду я жду Его голоса:

— Дальше.

Поэт у колонн кофейни—в парке нарзанном—сидит за столиком, пьет кофе, докуривает сигару и грустинно—одиноко шепчет мне:

— Дальше.

Я понимаю этот жуткий, но четкий, но резкий, но освободительный жест футуриста:

— Дальше.

Я преклоненно чую.

В самом деле—во имя высшого сознанья, во славу благодарности Мудрецу Духа я подвижнически взываю:

Вот перед нами—Великий Поэт—это Он подарил нам Карнавал творческих радостей, ярчайшую Карусель Преображенья, расцветность Вечной Весны, стремительную Волю к Полетам, энергичное ощу-

щенье Культуры, трепетную Любовь к Песням—это Он создал нас девушками и юношами и окрылил нас вдруг Молодостью, надеждами, возможностями.

Поэт—мильонер поющего Духа—роздал все свое духовное богатство и ждет.

Он ждет ответа.

А что Ему дали в ответ.

Одиночество, шум славы, разговоры, рецензии в газетах, улыбки, упреки, зависть, остроты, ревность, дешевую критику, безразличье, несколько новых знакомств, друзей и врагов моды футуризма, спрос на Его книги, деньги.

Словом все то, что окружает знаменитую личность.

Это все то, что Ему совсем чуждо и ненадо, совсем не то, не так, ложь, ерунда.

Гения Духа оскорбляет мещанство, угнетает невежество буржуазии в Искусстве, давит царящая пошлость, сжимает сердце безпросветный эгоизм окружающих.

Поэту нужны духовные друзья, чудаки, энтузиасты, орлы, урожайные таланты, рыцари гениальных возможностей.

Где их искать, как собрать: ведь Поэт знает, что они есть, может быть близко, Он зовет, кричит—как одинокий лебедь,—верит, горит, ждет.

И если ненаходит—тоскует нестерпимо—с тихим отчаяньем говорит:

— Дальше.

Но никогда никого Он неосуждает, неосуждает, неосуждает, неосуждает, нет.

Межсловие Анонимного Автора.

И это только говорится—Анонимного Автора, а на самом деле (разоблачаю явочным порядком во славу Его Личности)

— Это—Николай Дмитриевич Филиппов, чьё поэтическое вниманье к Поэту Василью Каменскому гордо заставляет меня на этой странице дружески обнять и расцеловать Николая Дмитриевича.

Он—из единственных—таинственых.
Он чует Его духовно—хрустально.
Он знает Его астрально.

И Поэт ультра—фиолевыми лучами глаз—когда в глубокой комнате Прасковьи Ефимовны поет

Стихи Свои — провидит кроткую душу Анонимного Автора, душу взлетевшую до чудесного ожерелья из напевных строк:

(ПОРТРЕТ С НАТУРЫ—АНОНИМНОГО АВТОРА)

В лазури взмахнула крылами
Серебристая чайка—мечтайка.
Мечты окрылилися снами
И мчится лазурная чайка.
Из блеска нечайных мечтаний
Несутся чудесные блестки
Дым взмахов случайныхв злетаний
Дымится как дым папироски.
И чистые чайные розы
Становятся в странные позы
Как будто маркизы и лэди
Попарно на званом обеде.
С цветами и бальные платья
Брильанты бокалы улыбки.
Но вот под напевом заклятья
Все лица становятся зыбки—
Становятся розами лица
Поют заливаются скрипки.
Летит белокрылая птица
Каменский на ней словно Будда
Недвижно и радостно мчится.
Веселое милое Чудо.

С глазами кобальто—жемчужными
Но светлыми словно ненужными
Он пристально белой улыбкой
С походкой спокойной но шибкой
Взял в руки звучаль семиструнную
Он песню запел огнерунную
Юнную
Лунную
Грустинную
Длинную,
А из песни рубиново—алыми
Сверх конями как золото чалыми
Огнегривыми
Игривыми
Выбегают напевы блистальные
Хрустальные
Чеканные
Благоуханные
Из лучей свето сеть заплетается
Улыбаясь солнце качается
И Поэт его ловит любуется
С нежным солнышком нежно целуется.
И берет его белым крылом
И уносится в небо орлом.
На землю он смотрит качаясь на радуге яркой
А радуга в небе легла семицветною аркой.
Он пляшет на ней и бросается в небо сразбегу
И ловит в объятья звезду лучезарную Вегу.

Похитив звезду он несет ее в свой кабинет
И бережно в синем футляре на полку кладет.
И снова летит он на белый речной Пароход.
Вот это Каменский—мечтательно звонкий Поэт.

Анонимный автор.

Славный Друг Поэт, я нежно взволнованно благодарю Тебя за этот звучальный порыв во имя Его вершинное.

Я ведь знаю:

В расцветных долинах грядущих дней Ты еще не раз в ответ услышишь о Чуде, посланном Тебе в подарок Васильем.

Тифлис—Иван Заикин.

Из Кисловодска мы дали одну гастроль во Владикавказе' а вернувшись мы—я с Володей Гольцшмидт—подписали контракт с дирекцией Казарова и Акопова гастролировать по Кавказу

Трехмесячная нарзано-искристая жизнь кончалась.

Ах минеральные вы—светловодные
Вы жизнедатные источники сил
Соки земные нарзанно холодные
Вас до чудес каждый гость возносил.
Все у источников будто на празднике
Полные чары искристое пьют
И вспоминая о звонком экстазнике
Звонкие песни мои разольют.
(Девушки босиком.)

За это время Поэт побывал на Эльбрусе (верхом), Бештау, Бермамыте, Машуке, Джинале, Нарзанной Долине, на Казбеке—по военно-грузинской дороге.

Был на месте дуэли Лермонтова—любимца Поэта в юношестве.

Он написал о Нем стих, напечатанный тогда же у Петросяна в Кавказком Крае, где впрочем были также напечатаны: Кисловодск, Есентуки, Железноводская лань.

В Железноводском парке
Я встретил девушку
Мечту грустинницу
Мечту венчаль
В поэмах—ласках переливницу
В прикосновениях звучаль.
(Девушки босиком.)

В конце августа Поэт опьяненный не меньше Кахетинским, чем девушками оставил, Кисловодск.

Его несовсем трезвое состоянье облегчило отъезд. Дальше.

На автомобиле от Владикавказа Он поехал по военно-грузинской дороге—вдоль шумного Терека—Дарьяльским ущельем—через Крестовый перевал—долиной Арагвы—до аранжерейного Тифлиса.

В Тифлисе Поэт поселился зимовать.

Я снял уютную комнату на Кипиановской 8 в грузинской милой семье Кучихидзе, где Он немного научился грузинскому языку.

Салами артивепс
Салами футуризм.

Ряд гастролей в Тифлисе и вокруг: Баку, Кутаис, Батум (контракт) дали Поэту здесь горячее кавказское шумное вниманье.

Кавказское слово—послучаю приезда Поэта напечатало Его стихотворенье—Тифлис и ряд статей, посвященных Его выступленьям.

Такое же сердечное вниманье оказали Ему: Оризон, Сахалхо—Пурцели, Закавказская Речь, Тифлиский Листок и другие многие газеты столицы.

Конечно много и острили—особенно популярный А. И. Канчелли, Н. Захарова, Букштейн, Н. Дундарова.

Критик Я. Камский в Закавказской Речи чутко, культурно, тонко писал о Нем фельетоны.

Согретый исключительным вниманьем Поэт решил напечатать здесь книгу стихов—Девушки Босиком, матерьял для которой имелся в изобилии.

В цирке Ефимова—выступал чемпионат лучших мировых борцов, среди богатырей был знаменитый борец и авиатор Иван Заикин: еще будучи студентом Поэт был его горячим поклонником в Петрограде.

Встреча двух чемпионов Тела и Духа—Ивана Заикина и Василья Каменского состоялась в духане за кахетинским с лезгинкой.

Вскоре они близко—два бурлака Волги да Камы—подружились и почти нерасставались.

Поэт постоянно ходил в цирк и хорошо познакомился с товарищами Заикина: Иваном Поддубным, Алексеем Кельцовым (арбитр и талантливый яркий парень), Клеменсом Булем, Вахтуровым, Святогором, негром Ципсом, Яковом Лешим, Манько и со всеми артистами цирка, среди которых остро выделялся замечательный клоун—гимнаст Донато—всеобщий любимец.

Поэт чаще и чаще стал вспоминать Свою рыцарскую клятву в детстве:—во что бы то нистало послужить в цирке артистом.

Для пробы Поэт в день бенефиса друга Заикина неожиданно для всех появился на арене перед публикой в кругу чемпионата с хартией—Он сказал приветную речь бенефицианту Заикину и прочитал ему Свое стихотворенье—экспромт.

Ты весь рассейский парень ясный
Своим могуществом ты пьян
Своей стихийностью прекрасный
Как Стенька Разин атаман.
(Девушки босиком)

Заикин во истину обладает изумительной интуитивной стихийностью—в его размахе чувствуется волжское раздолье бурлака—мудреца—поэта.

Искренность, внутренняя талантливость, сердечность Заикина очаровали Поэта—впервые встретившого в жизни феномена Интуиции, которая дает Заикину чудесную духовную широту и яркую образность.

И дружбу с Поэтом (известно также что Заикин давний друг Куприна)—Он сказал:

Заикин—слон с душой поющей девушки.

Неожиданно в Тифлис приехал А. Куприн прочитать лекцию—Судьба Русской Литературы.

А. Куприн, Василий Каменский и Заикин дружно слились в Кахетинский триумвират и духаны расцвели и закружились в виноградных возможностях.

— Ай шени—чериме.

Осенний сезон в цирке Ефимова (ныне построен новый—зимний цирк) кончился, чемпионат во главе с Заикиным перешел в другой зимний цирк Есиковского.

Директор Есиковский—вероятно по совету Заикина—сделал предложенье Василью Каменскому выступить у него в цирке рядовым гастролером: в костюме Стеньки Разина верхом на коне исполнить песни из Его романа, а перед началом сказать речь о поэзии цирка—демократизации Искусства.

Мысль Поэту понравилась.

Он согласился на три гастроли.

Я переговорил об условьях и подписал контракт.
Дебют прошел славно.

Поэт много волновался и светло торжествовал: ведь Он сдержал рыцарское слово—клятву ребенка—Он выступил в цирке артистом.

Его цирковые товарищи трогательно Его обступили после номера и благодарили за речь, где возносилось демократическое искусство цирка римского—до сегодняшняго цирка, где цирковые артисты славились мастерством пластики и яркой любовью к круглой арене, где Поэт пророчествовал расцвет современнаго цирка с участьем лучших сил Единого Искусства Синтеза.

Буржуазная пресса Москвы и Петрограда осудили Поэта за демократизацию поэзии, ничуть непредполагая революционнаго взрыва.

Еще бы: разве мол пристойно Поэту, хотя-бы и народному—автору Стеньки Разина—выступать в цирке, в котором уличная простая публика даже нераздевается, а артисты цирка все—клоуны. (Утро России, Театр. газ., Нов. Сатирикон, Ж.-Журналов.)

А вот Поэт прикоснулся к цирковой публике, к цирковым артистам и искренно—трепетно полюбил цирк, где чуткости и культурности и мастерства, и соборности в сотню раз больше любого театра всегда пошлой драмы с пошлыми актерами—сплошь бездарными диллетантами.

Ведь когда то Поэт был близок к драматическому театру и с ужасом об этом вспоминает.

Цирк же преобразил Его, возродил, орадостил.
Поэт будто помолодел на 10 лет.
Вместо трех гастролей прошло восемь.
Последняя—Его бенефис.

Однако Поэт утомился гастролями и я серьезно взялся за печатанье книги стихов Девушки босиком с помощью Заикина.

Работа пошла энергично: нашлась типография, бумага, появилась корректура.

Я неспал ночи, исправляя корректуру.

Через месяц Девушки Босиком—2-я книга стихов Василья Каменскаго вышла.

Обычная пятница литературнаго собранья Салона Назаряна была посвящена новой книге.

Автор—Девушки Босиком— говорил речь о футуризме, читал стихи.

От лица новой армянской поэзии Поэта приветствовал Поэт Кара-Дэрвиш—светлая талантливая голова (автор Свирель Жизни).

Поэт стал часто выступать со стихами в благотворительных кафэ, куда Он появлялся встречаемый обычно апплодисментами.

В газетах — журналах появились как всегда обильные и разнообразные рецензии.

Книга разлеталась стремительно: один только Тифлис разобрал пол-изданья.

Нечаянно появился А. Крученых и Поэты вместе с художником Кирилом Зданевичем (изумительный мастер динамических рисунков) затеяли альбомную книгу—1918—(цена 25 руб. экз.) и быстро выпустили.

Тогда же из Петрограда от издательства — Современное Искусство — Н. И. Бутковской пришла телеграмма, что—Книга о Евреинове— вышла и авторский экземпляр выслан.

Таким образом вышла 5-я книга Василья Каменскаго.

— Мне кажется, что Сегодня пришла пора венчать достойных венцом любви, пришла святая пора восхвалять при жизни дела великих Духом. Поэтому Я с особенно строгой гордостью возношу венец любви на голову достойнейшого Н. Евреинова и от глубин чистаго сердца восхваляю великие и богатые дела его.

(Книга о Евреинове)

Когда получилась—Книга о Евреинове—от культурной, энергичной издательницы Натальи Ильинишны Бутковской—Поэт возрадовался кахетински: Он схватил в охапку эту желанную—с любовью изданную книгу (яркая обложка А. К. Шервашидзе) и побежал в духан над Курой справлять свой авторский праздник.

Легендой каждой—будто лаской
Я преисполнен благодарий—
Звучи ударно сазандарий—
Я весь звучу судьбой кавказской—
Играй Лезгинку.
(Девушки босиком)

И—эх—большой таши—зазвучала лезгинка в мыслях, в сердце, во всех радугах Саэро.

И не было Поэту удержу: так понравилась Ему заколдованная Книга о Евреинове.

Кахетинские восторги переливались водопадно.

И кубок полный кахетинским
В руках моих орла Урала
Звенит кинжалом Кабардинским
И льется Тереком Дарьяла.

Пускай знают заботливые друзья: Н. И. Бутковская, Е. А. Молчанова, Н. Н. Евреинов, что в эти дни пробегающая с вершин Кура видела Поэта сияющим в облаках.

И неслабее сиял Иван Заикин—оба с сигарами, с песнями.

Где то напротив сидела Соня с Георгием Артемь-

евичем Харазовым — остроумным доктором математики или их небыло—Поэт непомнит.

Нина Дубченко—поэтесса и друг Поэта ушла на курсы.

Увлекайся Поэт увлекайся
Раздавай неземное свое.

А где друг Володя Гольцшмидт—в какие страны уаеропланил он ворочать человеческие души телеграфными столбами: кого он — рыцарь солнечных радостей — убедит истинно жить, а непроживать жизнь—эххх—ммма.

Увввв—брррэ—мззз—
Ннна—трмб—баххх—
Щерркл—Бацк—
Тихо.
Где то плывут корабли.

Каменский расковырянный кистью Давида Бурлюка.

Старушка—Кремль (Карамель) новых дней подвергнут бичеванию:

Многие стонут, а я радуюсь.
Боюсь тишины, боюсь покоя.
При белом молоке электричества треск пулемета.

Нет первые страницы летят машины—живой, веселой (дням нашим подобной)—я (когда пишу это) еще не читал Его—Моя биография книги Василия Каменского, но радости смех связал многие века наши, но незабыто упоение Стенькой Разиным, но Девушки Босиком еще звучат весенним бегом этого предлетья и среди наивно—мудрых строк своих поместив страницу опытного творчестве твоем друга—на полку емлешь колесницу *прозы* твоей, Вася,—цемент—цемент.

Ибо, благодаря оному отчетливей воспринимаем формы, очертания камней отдельных, созидающих вечный дворец творческой души Василия Каменского.

„Поэт мудрец и авиатор –
Помещик лектор и мужик—
Я весь—изысканный оратор—
Я весь—последний модный шик.

Это сочинения Василия Васильевича—но это правда—это не сочинение.

Как и это:

Необходимо Искусство Российское
Футуристам спасать.
(В. К.)

И честная грудь Васи уже украшена двумя медалями за спасение утопающей погибающей **литературы** русской.

Бросает лазурнотворческаго берега духа своего—книги свои—спасательные круги.

Круги спасатель.

Поэтам от резиновой „штемпелеванной калоши" (№ Пушкина и др.) непонять Каменскаго. Канта поймут Россетский камень оригинальцитатствуют, а перед детьми приходящими станут недоуменно и протестующе.

И мимо них пройдет „странный странник Странных Стран" мимо „белой с колоннами террасы".

„Сложив футурные стихи
В мешок крупчаточный".
„Уйдет на богомолье"
Или (с горя) „в канаве будет крапивой
Расти"

Многие увлеклись „Паном“ (Гамсун)—Вася детски отдался со многими (Начало карьеры) Пану—но сказалась черноземная матка Русь—детки вылетели—дуги русскоразноцветные.

Детки взошли вывески провинциально размашистые (вся жизнь, весь день—Все) и Парижу не угнаться—книжки родились.

„Открыватели стран—
Завоеватели воздуха—
Короли Апельсиновых рощ
И *скотопромышленники*“.

Примечание: курсив наш—именно и ското—ибо поэт.

„Перекидывает мосты.

От слез
Бычачьей ревности
До слез
Пунцовой девушки“.

Вася искренен—девушки становятся пунцовыми: Поэт признается им:

Он признается той
Что „была одета в брюссельские кружева“.
Что Его—
Жизнь течет
В мечтах сгорая
Для песен—женщин—и вина.

Но девушка становится пунцовою ибо Василий Васильевич—Истинный поэт „незнает к каким пристанет берегам".

Вот он подымает (истый цаловальник):

Чарку вина
За здоровье Комет
Истекающих бриллиантовой кровью.
(пьет... настроение меняется—вдали гроза)
„Или лучше—заведем грамофон.
Ну вас—к чорту—
Комолые и утюги".

Послать к чорту „отель малиновый", „девушку лань", „Кисловодск мечтательный в долине", „Углекислыя ванны нарзана" все к чорту послало Сердце землелюба—крестьянина Каменскаго и вот:

Последний модный шик":
„Чугунное житье.
Ношу кривой татарский нож
Индейское копье.
Хочу—кричу—топор точу—
И жгу смолье.
В четыре пальца просвищу...
Людей не вижу не ищу.
И выплюнул слова.
М—ммычу
Ядреный вол лугов".

Но конечно, пунцовые (от восторга) поклонники и „ицы" Гения Каменскаго Васи не бойтесь такое одичание поэта редко, чаще:

Знаю
Скоро для примера
Я от людей уйду рыбачить
И где нибудь в шатре
На Каме
Я буду сам варить картошку
И засыпая с рыбаками
Вертеть махорочную ножку.

Примечание друга поэта: картошку варить мастер, а насчет махорочной ножки—то врет.

Вот благодаря признаниям Василия Васильевича—Картошковара мы и знаем теперь откуда у него все это:

Цив—цинь—вью
Цив—цинь—вью
Чок—й—чок.
Цль—плю—ций.
Ций—тюр—лью.
Чурлюжурлит журчей
Чурлю—журль
Голубель сквозь ветвины молчаль
Элль—лё—лё.

Уже поздно—пора кончать.

Несердись Василий Васильевич, что кратко, но боюсь сбить тебя твоей книге (бросишь прозу—и кончишь книгу стихами).

А ведь поэт должен и прозу делать ибо кто же лучше поэта смыслит во всех тонкостях труднаго искусства (чтобы небыло скучно).

А еще: (моя последняя мысль) Василий Каменский пройденным своим творческим путем доказал, что Велимир Хлебников (*Великий Соотечественник и Современник)* может быть закончен (частично), дополнен (на путях словотворчеста и. Жаль, что время такое трезвое а то бы.)

Две реки сливаясь воедино—
Великий вод разлив родят
Где парусам так вольно править спину
Где ветра вечно шумный сад.

Примечание: (Я тоже перехожу на стихи ибо писал о поэзии.)

Перо и кисть приложил:
Давид Бурлюк.

Благодарность.

Эй—кабаки, кафе, билиардные, базары, пристани вокзалы, курорты—величайшей благодарностью преисполнен вам Поэт за вольнотворческий приют.

У вас в гостях истинно отдыхал Он.

И отдыхая затевал удивительные затеи.

В кабаках—в общем стеклянном шуме—за бутылкой сочной виноградности—опьяненный—Он чуял Себя уплывающим облаком к берегам Цейлона или вспоминал песню арабианки:

— Ю мме коюн карайян.

Взбалмошная Его голова кричала:

— Дальше—еще одну.

Песнепьянство кружилось карусельно.

Что судьба моя—призрак на миг
Как звено пролетающей Птицы—
Пусть Василью Каменскому Памятник
Только любимой приснится.

В кафэ (в Москве часто у Бома на Тверской) среди курящих и дамских шляп за чорным турецким кофе с сигарой Он затуманенно—прищурив правый глаз—просматривал Новый Сатирикон и Журнал Журналов где Аверченко и Василевский острили над Его выступленьями в цирке.

И непонимал Поэт: почему это журнал и газеты брезгливо—высокомерно относятся к великолепному яркому Искусству Цирка (Поэт демократизирует Свое Творчество), а о гнилой похабщине барынь Вербицких (статьи Василевского) писать нестыдятся.

Поэт любит Цирк и пророчит ему сказочный расцвет теперь же, если в Цирк будут также привлечены Поэты, Художники, Певцы, Музыканты.

На базарах, пристанях, вокзалах, Ему нравится движенье пестрой толпы, смена лиц, торопливость, трепет, шум, звонки, свистки.

На базарах Он всегда ищет случая купить для Своего Музея какую нибудь вещь.

Курорты— ранней весной—Крым, май, июнь—своя Каменка, июль—минеральные воды—Поэт воспевает за красочность слета гостей во славу общого отдыха, встреч, возможностей.

Главное—на курортах Поэт разливается истинной птицей и успех Его песен среди гостей опьяняет солнечным вниманьем.

Девушки, цветы, вино, юноши, друзья качают—раскачивают Поэта до сверх—футуризма.

Революция.

Через месяц всяческих увлечений Поэта известный антрепенер Федор Долидзе подписал со мной контракт на 15 гастролей по Кавказу и России с 1 февраля.

Это значило, что Поэта толкнула близость Движенья Весны:

— Дальше.

Последние дни Поэт пропадал в кофейнях у персов, накупил для Своего Музея много вещей, усиленно работал над новыми лекциями, грустил по России, по Каменке, по весенним полетам.

Замелькали Батум, Кутаис, Баку, Армавир, Екатеринодар.

В Армавире редактор—Отклики Кавказа—писатель М. Ф. Михайлов и известный критик—эмигрант В. Я. Перович встретили Поэта великодружески—запоили, закормили, закурили.

И в Армавире Поэту на лекцию неожиданно пришел Н. Евреинов: он проезжал в Сухум—отдыхать.

Встреча была трогательной, нежной.

Две родные птицы встретились на острове неожиданности в общем шумовом перелете.

В Екатеринодаре Кубанский Курьер и Кубанский Край светло по молодому поздоровались с Гостем от Грядущего.

Дальнейший маршрут: Ростов на Дону, Новочеркаск, Таганрог, Харьков, Москва.

На Ростовском перепутье у Бершадского Поэт встретился с Е Чериковым и с композитором М. Гнесиным.

В Ростове как раз случилось величайшее из чудес мира: 26 февраля Поэт в редакции Приазовский Край узнал из телеграмм (тогда еще негласных) о Взрыре Российской Революции.

Поэт целые ночи стоял у окна своей комнаты и ревел от нахлынувшого счастья, метался, торжествовал, махал руками, напевно читал стихи, говорил свободные слова, готовился к речам.

Ведь настало рубиновое
На улицах публика
Флаги как маки горят—
И Я рвусь
Да здравствует родина Русь
Счастливая наша Республика.

Народные революционные шествия с песнями и знаменами вызывали гениальное напряженье соборного энтузиазма.

Слезы Единого счастья горели утренними брильянтами отражая алые волны флагов.

Мысли, сердца и души слились в Единого Друга Воли—могучого, размашного, затейного, буйного, истинного.

Явился Человек—Брат—Товарищ—Гражданин.
Утвердилась Личность.

И царская шваль сгинула в свой чорной зияющей кровью Яме палачей.

Ухнула бездарная куча царского села.
Побледнела осиротелая буржуазия.
Народ стал Человечеством.
Интернационал возсолнился полднем.
Идеи анархизма расцвели победно.

Поэт ходил по улицам и вдохновенно—пророчески говорил слова – гимны абсолютного Равенства, возславляя красоту Революции и Совершенство свободной Личности, основанное высшим выявленьем Творчества Духа.

Назначенные лекции — футуризма — Творческая Воля Жизни (об утвержденьи Свободной Личности) Поэт заменил революционными митингами.

В Новочеркаске—родина Стеньки Разина—студенты и курсистки устроили Поэту—автору Стеньки Разина—триумфальную встречу.
Переполненный театр ликовал.

Буйно славил Степан вольнолюбимый Дон за буйную Молодость, за разгульный ветер, за песни народные – что звали его на дело великое и чуял Степан. И как сам Народ русский обиженный зверским гнетом государства московскаго, обездоленный властью жадных корыстных князей, озлобленный царскими палачами,—Степан—не за себя а за братьев своих полоненных решил сложить свою удалую голову за дело воли народной, за долю молодецкую, богатырскую, урожайную.

(Стенька Разин)

Эти строки Поэта—напечатанные в дни чорной реакции и прочитанные в свободные дни—произ-

вели на новочеркаский народ (в театре на его митинге) торжественное впечатленье.

Молодежь почуяла разом суть футуризма, рожденную революцией Духа.

Молодежь стихийно поняла истинную демократичность футуристов—единственных Поэтов из всей русской литературы—кто столько страдали от полицейских гонений, от доносов буржуазной прессы, от ненависничества аристократии и кретинизма критиков, и кто—единственные - не боялись бороться открыто, широко за дело грядущей революции во имя предчувствия.

Разве еще в 1913 — Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Василий Каменский—когда разъезжали по всей России с лекциями — разве не в десятки тысяч молодых сердец Они влили вино возбужденья Бунта за Волю, за Вперед, за Культуру.

Пускай же помнят квалифицированные борцы за свободу что их великая революционная пропаганда небыла интенсивнее и ярче великой пропаганды анархических идей футуризма.

Кафедра этих трех пророков—футуристов играла роль даже не буржуазной государственной думы в Искусстве, а роль демократического Учредительного Собранья (в Творчестве Вольной жизни) решившого возвестить Миру — Союз Единого Человечества под знаменем всеравенства Интернационала.

Эта ли кафедра—всегда окруженная тысячами чающих Движенья - вместе теперь с неотцветной Весной жизни невыявила Поэта со всей Его сущностью Великого футуриста—Открывателя.

Эй Колумбы Друзья Открыватели—
Футуристы Искусственных Солнц—
Анархисты—Поэты—взрыватели
Воспоем Карнавал Аэронц.

Речи.

После яростных революционных выступлений—митингов Поэт в Харькове – здесь Он встретился с друзьями Н. И. Кравцовой—художницей и весенним Поэтом Петниковым—и в Москве—Эрмитаже (драм. театр Суходольского 26-го марта, где бурно выступали: Маяковский, Ар. Лентулов, Василиск Гнедов, В. Гольцшмидт, П. Пермяк—Субботин) Поэт уехал в Пермь.

Выступал в Мариинской гимназии на огромном митинге учительскаго съезда.

В средине апреля Он с В. Гольцшмидт устроил лекцию—митинг в Екатеринбурге.

Женственно чуткий, светлый рыцарь Поэзии—единственно честный критик—известный Сергей Виноградов в Уральской Жизни (когда то в этой газете Поэт печатал Свои стихи) искренно писал:

— 19 апреля Екатеринбург блестяще выдержал экзамен на футуризм: встреча была триумфально-восторженная. Речь Василья Каменского—пламенная поэма, вдохновенная проповедь поэта—пророка, гимн ярчайшей красоте ликующей солнечности, взмах крыльев, несущих в воздушную Высь от низин

жизни. Его стихи—песни—новое, счастливое светозарное, вольное, царство Грядущаго, Его голос—призывный огонь Поэта Сегодня, заженный Современностью. Его лучшия Книги: Стенька Разин, Девушки Босиком, Книга о Евреинове (С. Виноградов пишет по поводу этой книги: Если Евреинов во истину Колумб театральности—то Василий Каменский—Америго Веспуччи, гениально описавший красоты и богатства Америки.)

(Уральская Жизнь)

Славный рыцарь, нежный Друг Футуризма Сергей Виноградов—да будед благословен яркой памятью благодарнаго сердца Поэта.

Из Екатеринбурга Поэт едет перед отдыхом еще на две гастроли—митинга по заводам.

В Нижнем—Тагиле Он дружески встречается с уездным комисаром—адвокатом Михаилом Николаевичем Ветлугиным—другом юношества—и заводской публикой, приветствовавшей Поэта в театре, на лекциях.

И наконец еще одна гастроль в Невьянске, где заводская публика сердечно апплодирует редкому гостю, - и Поэт уезжает к Себе на Каменку, утомленный сплошными переездами и нервной напряженностью.

Он изумительный оратор: Его горячая всегда страстная, живая речь длится по 4 часа с двумя маленькими перерывами, в которые Он едва успевает выпить по стакану чая.

И дальше.

Стремительным натиском Он летит все вперед, сгорая в радужных перецветностях, преображаясь все вновь и вновь.

Это—Его полетная воля.

Его перелетный путь.

Его Судьба.

Лето на Каменке.

Теперь раздольное лето на Каменке.

Поэт живет в Своем музее, охраняемый соснами, солнечными днями и мечтами.

Он спит у открытаго окна и долго смотрит на звезды или в синий туман долины.

Встает с птицами, поет стихи, спускается с горы, умывается из Каменки, идет в нижний домик пить чай, а потом снова на верх, на балкон или в лес.

Пока часа в 4 Маруся — жена Алеши — незакричит снизу:

— Обед-а-а-а-ать.

А ее сын Лёлька по своему:

— Тип-тя-я-яп.

Я работаю: целый день пишу эту книгу. все припоминаю, разбираюсь в письмах, вещах, встречах, Его книгах, безконечных рецензиях о Его стихах, романах, лекциях, речах, философии, полётах на аэроплане, изобретениях, картинах, актерстве, (сцена и цирк), путешествиях, затеях.

Пишу же о немногом—о том только, что возможно и ярко—характерно для Его Личности, что—главное—создало Ему имя Великого Футуриста.

Ему 33 года—значит впереди у меня еще много работы.

Я пишу настолько о немногом (слушайте поклонники скромности), что говоря о Его 5 изданных книгах—я сознательно умалчиваю о 6 неизданных, но готовых уже к печати: 1 я Стихи, 2 я История Российского футуризма, 3-я Давид Бурлюк, 4-я Пьесы, 5-я Философия Современности, 6-я Поэмии.

Я молчу также о 13 написанных и всюду читанных лекциях—что составит еще 3 книги—неизданных.

Эти 9 книг неизданы оттого, что все издательства крупные находятся в грубых руках невежественно-некультурной коммерции, издающей всякую дешевую дрянь ради дешевого матерьяла, или чаще во власти представителей старого искусства неудачников и завистников, которые откровенно цинично душат Искусство Молодости, а рынок наполняют своими бездарными книгами во имя корысти.

Этот кошмар—и в живописи, и—в театре, и в кинемо: экран замазан сплошной похабщиной.

Раз я был в атэлье московской большой фабрики и режиссер, ставивший картину, произвел удручающе-безграмотное впечатленье базарного издателя шерлок-хольмщины.

Во всех кинемо пахнет кретинизмом.

На выставках живописи богатые художники—старики гнут талантливейших пролетариев—молодых левых художников.

В театрах режиссеры ставят грязную пошлость и дурацкие водевили известных благонадежных драматургов.

Вся эта компанья старого искусства—сгнившая вместе с царским строем—еще жива и многочисленна: вот отчего трудно дышать истинным гениям.

Вот отчего неиздано 9 книг Василья Каменского.

У—а как эксплоатируют издатели авторов—нестерпимо говорить.

А если издает сам автор, то одни книжные магазины за комисионную продажу берут 30, 40, и 50 процентов и расплату задерживают, затягивают.

У меня много пропало денег за книжными магазинами и—думаю у каждого—кто издавал сам.

И еще сейчас валяются квитанции—неоплоченные магазинами старые долги: просто противно ходить получать.

Приходишь в книжный магазин или в издательство получить свои деньги за свои книги и тебе их выдадут—далеко несразу—в самой оскорбительной форме.

Будь они прокляты.

Вот отчего лежат неизданные книги (теперь вот за эти строки бойся мести издателей и книжных магазинов—о как трудно издавать),—книги, спрос на которые огромен и растет.

Я пишу эту новую книгу и стараюсь недумать об ее изданьи, иначе—тяжко.

Я убежден, что и эта книга разойдется стремительно—как все Его книги—однако издавать—отчаянное мученье.

Все же я пишу, работаю, напрягаю силы и знанья, чувства и творческие возможности, широту внутренняго размаха и Волю духовной мудрости.

Он неищет, неждет, нежелает никакой награды, ни похвалы, ни шумного успеха, ни упреков, ни славы, ни денег, ни памятников, ровно ничего.

Потому я пишу свободно, как поет сердце и творит разум, как развертывается панорама жизни под летящим аеропланом Сегодня с криком мотора:

— Дальше.

Я только авиатор Времени с пассажиром Вечности—ПоЭтом.

Только—наблюдатель, собиратель, инструктор, исследователь, организатор, ученый.

Я—поступательная сила, земное.

Он—небесное—Он Гений Духа.
Я—как многие из феноменов.
Он—Единственный—будто солнце на небе бирюзовых возможностей.

Я энергично гордо работаю над этой книгой, а Он каждую минуту отвлекает меня: Он кругло смотрит в светлодальний простор, безпокойно шевелит крыльями, вдыхает ветер, поёт.

Бирюзовами зовами
Взлетая и тая
В долины лучистые
Покоя земли—
Раскрыляются крылья
Быстрины взметая
Стаи цветитистые
Птиц—корабли.
(Девушки босиком)

Что Ему моя работа над книгой—суета, скорбь, узда, условность, заблужденье.

Я это знаю и всетаки пишу: я болен воображеньем крайняго оптимизма—будто кому то, где то зачем то нужна Книга—вообще.

Чую: Он переполнен стремленьем к Полету а я задерживаю, останавливаю.

Он—с песнями, звездами, утренними дорогами, необузданной волей, яркоцветным размахом, друзьями, девушками, вином.

Я мешаю, недаю осуществленья, даже протестую, потомучто некончена книга и очень нехватает Поэту здорового покоя—здесь среди сосностройной тишины гор.

Струистая, бегучая Каменка, охрани мне Поэта, как умеешь, как можешь.

Помоги мне, Каменка, я устал, утомился от борьбы и одиночества, от мечтаний и почти напрасности.

Помни: ведь если не я и не ты—сгинул бы наш Поэт

Он всегда был и остался накануне отлета в иное переселенье, Его всегда влекло к земному крушенью и люди всегда толкали Его на погибель.

Может быть мы спасем.

Крылья.

Эй Ты разудалая отчаянная головушка—сокол Поэт.

Куда в неведомые страны какие потянуло Тебя обиженнаго буднями и мелочью, непониманьем и одиночеством.

Куда из дому.

Эх чорт немешай—
Надавить что ли
Лбом на стекло окна
Да крикнуть—Извощик
Вези на вокзал.
Да взять с размаху
Билет Пермь—Севастополь.

А там закатиться в гавань—в греческую кофейню—где играют в кости—выпить густого чорнаго турец-

кого кофе, закурить сигару—привезенную персами контрабандой и—обхватив голову—обдумать, что дальше.

Забраться ли в горы—в татарский аул поохотиться на диких коз.

Может быть сесть на корабль и укатить в Ялту—утешиться на качелях змеинноветвистой араукарии.

Али кинуться в раздолье волжское, бурлацкое широченное, размашное.

И гармонью русскую взять с собой.

Устроиться где нибудь у Жигулевских гор у рыбака в шалаше, ухи похлебать у костра, чайку попить, пошататься, помотаться, пожить босиком, в рубахе без пояса, с открытым воротом, с засученным рукавом.

На гармонье поиграть, попеть.

Вспомнить молодецкую вольную жизнь Стеньки Разина, разгуляться с песнями.

В Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани побывать, поболтаться по базарам.

И делом первым по циркам походить: нет ли там—поискать славного богатыря несокрушимого, друга любимого Ивана Заикина (кто единственный авторитет—в пьяной драке его с Г. на крестинах у директора цирка Есиковского—свидетель Куприн—в Тифлисе зимой 1916—оценил мою хватку оран-утанга, когда я кинулся в качестве тамады разнимать львов).

И по пристаням конечно потолкаться вдоволь—в чайных чайку заказать с изюмом, дальше тронуться—куда потянет.

Али разом вертануть на Кавказ.

Маленький таши.

Эй лезгинку. Гость Тифлиса
Я приглашаю в пляс грузинку
Со стройным станом кипариса
Сам стану стройным. Эй лезгинку.

Большой таши.
Камарджоба Духан.
Мэ всвам гвинос у цхклот.
Пью кахетинское без воды.
Хочу куда рвутся шелестящие Крылья.
Или Поэту неблизка голуборогая Грузия,

Или Поэту неродна чорноласковая Армения, чьи пути—подвиги, чья судьба—священна, чьи призывы—Песни.

Кара—Дэрвиш помни:

Стекцир Айоц футуризм.

И еще: Вортег Э им

Ерджанкутюн

Куда—же—куда, Поэт.

Дальше.

Ах Ты кудрявая солнцевеющая голова а и где Твой перелетный покой, перелетная птица.

Дальше.

И Сам незнаешь, неведаешь.

Только бы раздольнее Неба—стремительнее Полет—ярче, сочнее, ядренее Жизнь—да больше Друзей, Чудаков, Футуристов — да чтобы и всем вокруг Вольно—Буйно жилось во все колокола.

И всетаки в Час Созерцанья Ты скажешь:

Дальше.

От гор Алтайских до Уральских
От Камы—Волги до морей
До гор—ущелий—рек Дарьяльских
До звездолинных фонарей—

Я вознесу Судьбу Поэзии
К балконам бала по коллонски
У берегов—у Полинезии
Я поцелую по цейлонски.

Поэт готовится к Оглету: Он целый день бирюзово смотрит на горизонт юговосточного зова—Он слышит.

Дальше.

Сейчас—вижу по солнцу—около семи.
Воскресенье. Июль—2-е. 1917.
Каменка.
Я сижу—около дома—в лесу у костра.
Кипячу чайник.
Около в наберушке земляника—ждет.
Я подкладываю в огонь сучья, ворочаю угли.

У меня болит правый бок и левая лопатка; вчера метал сено, упрел, устал, в баню потом ходил—сразу легче стало.

Я плохой работник—у меня много природной силы, гибкости, ловкости, смекалки, но я пасую перед выносливостью мужика.

Быстро задыхаюсь, таю, нервничаю.

Ныне я много косил, но не днем когда захлестывает овод, а под вечер, как отзанимаюсь.

Ныне же в первый раз видел, как славно пахала под озимое пар Маруся—жена Алешина.

Конечно плугом гена.

Скоро Маруся будет еще пахать—продолжать—ей нравится—легко, нужна сноровка.

Женщины—аристократки и крестьянки (у нас крестьянки пахать небудут) приезжайте смотреть: Маруся пашет и ей нравится.

Я еще могу емко колоть дрова.

У нас гостит брат Петя—матрос.

Петя служит матросом—мотористом радио телеграфа в Гельсинфорсе—вот уже восемь лет.

Всю свою молодость, красоту дней, энергию, душу, надежды, возможности—весь смысл своей судьбы отдал казарме, запаху отхожаго места, скверной каше, дурному обращенью начальства, общей нестерпимой тоске таких же, как он, товарищей.

За что кому—во имя какое.

Ох—страшно—кошмарно об этом мыслить.

Нет человеческих сил слушать рассказы Пети о службе своей, перед которой каторга ему кажется желанным отдыхом.

В едком дыме костра—отмахиваясь преувеличенными движеньями—я ищу отвлеченья.

Дальше.

Около меня лежит блок-нот, подниму, стану писать еще биографию Великого Футуриста дальше.

Поэт—Иог—и загорелый от солнца—полуголый будто индус—неотрывно смотрит в огонь костра: может быть Он видит Себя на берегу священного Ганга у истока проникновенно повторяющого божественное имя Сиддарта Гаутемы—просветленного Творца буддизма.

Я пою Его Индиию:

Трава. Песок. И плеск морей
Венчают Мир венечно.
В гостях у медных дикарей
Гостить я буду вечно.

Рубины глаз в кустах тигриц
А меткость рук упруга
Прилеты перелетных птиц
Умеет петь подруга.
В шатрах из пальмовых ветвин
Дымится ужин дружный
И песню трав—пахучих вин
Развеет ветер южный.
А на поляне у костра
Откроется вдруг дверка
Змеинно выбежит сестра
Нагая баядерка
Ан—нэо—хатсу—хмау—ниса
Я позову на Брамапутр
Укрыться в радостях маиса
Над звездолинами для утр.
Я русский—в Индии Иогов
Поэт Земель—Небес—Морей
Приехал мудрости учиться
У солнцекожих дикарей.

Теперь Он смотрит на небо.

Я снимаю вскипевший чайник, завариваю чай, пью с земляникой, иногда пишу.

Сейчас Он думает о полученном только письме Своего славного друга—Марии Комаровой—знаменитой певицы—удивительной, чуткой, яркой, талантливой.

Мария зовет Его:

— Приезжай на Кавказ. Хочу слышать, чуять твои мысли, твои стихи. Я знаю тебе нехочется расставаться с милой Каменкой, но мы должны петь свои песни. Жду здесь—в Пятигорске.

Я еще наливаю чашку чаю.

Каменка, сосны на горе, костер, земляника.

Небо безоблачно, птицы, запах скошенной травы, творческий покой.

Один.

А где то там в Пятигорске — пестрая суета гостей, симфонический день в Цветнике, театр дорогого товарища—П. И. Амираго (Его антрепренера), чудесных импрессарио Юзика Казарова, Володи Снарского, Басманова-Волынского.

Поездки Кисловодск—Ессентуки—Железноводск.

Съезд знаменитостей.

И там — на балконе Бристоля — Его друг Мария Комарова—нежная, поющая, грустная.

И всегда нервная, мятущаяся.

Поэт сердцем слышит ее волненья, вопросы.

Чудесный она товарищ.

Ему хочется поехать, Он готов, Его крылья вздрагивают.

Но я останавливаю: мне необходимо работать сейчас—закончить книгу — Его—моя биография Великого Футуриста.

Я также знаю: Его тянет к Песням, к движенью, к друзьям, к любви.

Дальше.

Я понимаю, чувствую, сознаю.

А Его здоровье — ведь на Каменке лучше.

О я слишком Его знаю: Поэт ничуть никогда небережет Своего здоровья — как денег — как славы — как общественного мненья — и тратит все это— земное—во весь Свой размах.

Если б отдаться воле Его хоть раз без контроля в жизни—Он сгинул бы быстро.

И всем было бы просто безразлично.

Ах—не все ли равно всем: есть Он или нет.

Все на свете эгоистично—условно.

Пусть Он воображает, фантазирует, увлекается, любит, творит, поет.

Он—Поэт.

Я наливаю медленно чаю, кладу земляники, успокаиваю Поэта: ехать на Кавказ еще нельзя.

Ялта зовёт.

В комнате ветка оранжевой рябины.

Поэт потерял покой.

Он каждую ночь видит во сне море в Крыму, рыбаков из Балаклавы, корзины с виноградом, девушек в белых платьях, солнце на берегу у волн, корабли, дельфинов, крепкий турецкий кофе.

Просыпаясь кричит мне.

— Дальше.

А я работаю и упорно молчу: мне осталось совсем мало, еще несколько страниц, несколько слов.

Ведь Ему 33 года и мой труд впереди.

Я потом когда нибудь напишу вторую часть Его Дней и моих минут.

Теперь же Он начинает меня побеждать—кажется снам Поэта суждено осуществиться.

Скоро снова—Пермь—Ялта.

Так было много раз.

На пароходах по Каме—Волге до Саратова, там по дороге в Симферополь, оттуда на автомобиле в Ялту.

Этот маршрут я повторяю, пою, пишу, декламирую, чтобы только успокоить Поэта.

Быть может через 10 дней придется расстаться с Каменкой, с Его музеем, родными.

И в путь—дальше.

Все—к лучшему, к совершенному.

Мой вольный бег
Мой путь привольный
Где солнце и где Май
Вчера—Казбек
Сегодня—волны
У моря Черного мой рай.

(Девушка босиком)

Счастливый утровеющий час да встретит юношеские глаза Поэта, сияющие счастьем осенняго перелета с севера на юг, с Цингала на Ай—Петри.

К снегу—в Москву—стану там издавать Эту книгу, но как—еще незнаю.

Изменила ли революция теперь условья издательства или предстоит борьба с прежним ужасом—увидим.

Если будет нужно—возьмем свое силой молодости, надавим упругими бицепсами Духа и Тела, но неуступим тьме.

Наша закаленность в борьбе за святое дело Истины, наша загорелость от солнца культуры, наша радиоактивная энергия, наша гениальная футуристичность—верная порука за наше победное шествье—

— Дальше.

Революция Духа—за нами.

За нами—все молодое Человечество со всей своей красотой вольнотворческого бунта.

Революция дала великое благословенье нашему футуризму на океанский размах.

За нами подвиги гениальных парней—Достойных сынов своего пророческого искусства.

Имя Великого футуриста Василья Каменского еще много тысяч раз будет алошелково развеваться сокрушительным знаменем над молодецкими головами юношей и девушек.

Тише.

Сейчас Поэт будет читать Стихи.

Он совершит чудо.

Васйлий Каменский-Живой Памятник.

Комитрагический моей души вой
Разливен будто на Каме пикник
Долго ли буду стоять я—Живой
Из ядрёного мяса Памятник.

Пожалуйста—
Громче смотрите
Во все колокола и глаза—
Это я—ваш покоритель
(Пожал в уста)
Воспевающий жизни против и за.
А вы—эй публика—только
Капут
Пригвождали на чугунные памятники.
Сегодня иное—Живой гляжу на толпу—
Я нарочно приехал с Каменки.

Довольно обманывать Великих Поэтов
Чья жизнь пчелы многотрудней—
Творящих тропическое лето
Там—где вы стынете от стужи будней.
Пора возносить песнебойцев
При жизни на пьедестал—
Пускай таланты еще утроятся
Чтобы каждый чудом стал.

Я верю—когда будем покойниками
Вы удивитесь
Святой нашей скромности—
А теперь обзываете футуроразбойниками—
Гениальных Детей Современности.
Чтить и славить привыкли вы мертвых
Оскорбляя академьями памятниками—
С галками.
А живых нас—
Истинных, Вольных и Гордых
Готовы измолотить скалками.

Какая вы публика—злая да каменная
Несогретая огнем футуризма
Ведь пророк—один пламенный я
Обожгу до идей Анархизма.
Какая вы публика—странная да шаршавая—
Знаю что Высотой вам наскучу—
На аэроплане взнесенный в Варшаве я

Часто видел внизу муравьиную кучу.
И никому небыло дела
До футуриста—летчика
Толпа на базарах—в аллее
Галдела
Или на юбилее
Заводчика.
Разве нужна гениальность наживам—
Бакалейно-коммерческим клубам.
Вот почему перед вами Живым
Я стою одиноким Колумбом.

Вся Судьба моя—
Призрак на миг—
Как звено пролетающей Птицы—
Пусть Василью Каменскому Памятник
Только Любимой приснится.

Эхх и мма и ну.

Эхх-и летит Поэт
Мма-и купается в лебединых облаках.
Ну-и что ж.
Памятник ли, судьба ли, любимая ли, один ли.

Взлетел Поэт—крылья в небесности.
Незнает, неведает, нежет.
Все есть, все с Ним.
А зачем Памятник, ненадо.

И нетакой Он: где нибудь будет стоять на тропинке в горах у моря или на Каменке (у часовни Своей) с посохом, с мешком (сухари, чай и стихи) за спиной—это и будет—памятник.

Это и приснится любимой—и может быть у стога свежого сена накошенных мечтаний о солнце.

Помнится Ему: белый домик, ограда церковная и месяц молодой, четкий.

И летит Поэт к счастью.

Я кончаю книгу и думаю о восковой свече—о кротости во имя Его перед иконостасом судьбы.

Меня осудят все—и вы, чье сердце чутко только для себя и немного для близких,—и вы, чья дружба ограничена и условна,—и вы—и даже вы—чья любовь гордо называется любовью.

И меня будут судить: ведь я сохранил Поэта до этой Книги, а теперь пусть Он—полетает—согреется.

Эхх—голова—голова.

Я еще огненнее верю: я молюсь о Его голове.

Только бы удержалась голова.

А судьи кто.

Ну ничего, пустяки, ненадо, трава.

Он летит и если увидит озеро счастья, и если будет надо—опустится.

Я желаю Ему творческого покоя.

Он кажется ищет успокоиться.

Я кончаю книгу—я устал работать, мне трудно писать, и писать, и видеть как мимо проходит жизнь. полная ошибок, сомнений, горений, борьбы, порывов.

А где—Чудо.

В чем—Истина дней на земле.

Я незнаю.

Знает только Он—ведь Он так сейчас—эхх и мма и ну—высоко.

Что вопросы Ему, когда Он—весь ответ, весь песня, весь любовь.

И весь Он—Чудо, великое Чудо.

И Чудо настолько, что сейчас я печатаю (а еще недавно я незнал будули печатать эту книгу о Нем) и мне неверится в расцветающее счастье: Он встретил чудесных друзей П. Е. и Н. Д. Филипповых и эти Трое основали книгоиздательство Китоврас.

И эти Трое чуют Великий Пролом, собирая Единую Стаю Гениев.

Перелётный крик Лебедя

Святая—кроткая—напевная—южная.

Зовно грустит в Камышах Поэт о Тебе, когда вечером видит на дне озера упавшие звезды.

Или это Глаза Ее изумрудные.

И глубина—глубина—глубина.

Ах, детка—любимая.

Ведь только Он знает, как надо подойти к изголовью кровати Твоей, чтобы уходя—улетая в ночь оставить Тебе тихую теплую сказку—как свет лампады в углу у икон.

Он с тобой—в Единой Душе.

Он—рыцарь истинный.

Это Он в вечном Завтра—когда приходил вечерами в гости—видел в картине Георгия Якулова призрак Лебедя,—склоненную голову в грустинной изгибности.

Один—потомучто и полон любви, и полетов, и песен, и встреч.

Ах, детка, детка.
Разве забудет Он Солнце.
И разве невспомнишь Ты:
Я—Поэт—и хочу чтоб жемчужная
Набегала волна за волной—
Чтобы ты неизменная южная
Неразлучалась со мной.

(28-го октября)

Это—горсточка из океана трепетного созерцанья.

А я—что я.

Пастух поющий на свирели Его Поэмию о Соловье.

Поющий в глубокой комнате Прасковьи Ефимовны.

(Сейчас я вспомнил вечер на Каменке весной: хоркают вальдшнепы—поют соловьи, а я лежу у окна в часовне своей тишины—в соснах—и звездно мечтаю о друзьях—где—кто—зачем).

Может быть ненадо томиться так о друзьях—тогда скажите мне.

Детка, детка.

Я—Мудрец—я от Мира, но я—Ребенок—я кем то оставлен.

У меня большие аквамариновые крылья Лебедя.

И утренние дороги—подруги мои.

И я—к Тебе, и я—к Тебе.

Ты—святая для бога Его.

Тебе он отдал ветку с поляны горноуральской рощи чудесных Дней—Тебе посвятил эту Книгу с благословеньем на Великий Пролом—Тебе кротко—по океански сказал:

Где то плывут корабли.

Детка.

В Крыму—в Ялте—когда все мы—рыцари Духа—мы открыватели стран—мы фантазеры—все соберемся

в Единую Семью для Творчества—нам всем будет мудросолнечновеликопроломно.

Послушай еще:

Будет—что станет—
За песнями с песнями.
Судьба неустанет
Встречать Чудесами.
Под небесами—
Встречать друзей
Крыловейными стаями—
Вот мои радости детские
Дни молодецкие.
Встречать и кричать:
Эй разсердешные
Друзья открыватели,
Искатели вечные,
Фантазёры летатели—
В стройных венчальностях
Душ и Сердец
Давайте построим Мы
Стройный дворец
Для Единой Семьи
Безшабашных затейщиков.

(Девушки босиком)

И Он летит, и летит, и на крик Лебедя походят Слова Его.

Сейчас Утро в Горах Дней.

Все Просто, Мудро и Ясно.
Как трава: Ему ничего ненадо.
Только бы вот удержалась Его солнцевеющая Голова, только бы удержалась.

Но мы спасем, как-нибудь.
И вы помогите чуть.
Эй, Рыцарь оглянись—озари.

А М И Н Ь.

(Если Господь пошлет еще горсть Жизни Ему и мне—биография развернется без берегов. Все—от Счастья,—от Любви,—от Друзей. Досвиданья. Я тороплюсь).

КНИГИ ВАСИЛЬЯ КАМЕНСКОГО:

1-я **Землянка**. Роман. (распродано)

2-я **Танго с коровами**. Стихи. (распродано)

3-я **Стенька Разин**. Роман. (распродано)

4-я **Девушки босиком**. Стихи. (распродано)

5-я **Книга о Евреинове**. Монография. (распродано)

6-я **Его-моя биография великого футуриста**.

7-50
2144/483

ЦЕНА 5 РУБЛЕЙ.

СКЛАД ИЗДАНЬЯ:
МОСКВА.
Воздвиженка, 9.
Книгоизд-во КИТОВРАС.

SPECIAL 8K-B
25964